

ЗИНАИДА ГИППИУС

ПОСЛЕДНИЕ
ЖЕЛАНИЯ

Зинаида Николаевна Гиппиус

Последние желания

Аннотация

«Бледные виноградные усики щекотали лицо Нюры. Она некрасиво поморщилась, сорвала усик с досады, так что затрепетали широкие листья и уже завязавшиеся плоды – крошечные гроздья, но не переменила положения. В беседке была нестерпимая жара. Солнце желто-белыми пятнами ложилось на скамью, где лежала Нюра, на ее светлое ситцевое платье и на кокетливый наряд смуглой Маргариты...»

Содержание

I	5
II	11
III	19
IV	24
V	30
VI	43
VII	47
VIII	52
IX	61
X	69
XI	76
XII	86
XIII	93
XIV	101
XV	107
XVI	123
XVII	128
XVIII	137
XIX	145
XX	155
XXI	164
XXII	174
XXIII	179

XXIV
XXV
XXVI

188
194
204

Зинаида Гиппиус

Последние желания

I

Бледные виноградные усики щекотали лицо Нюры. Она некрасиво поморщилась, сорвала усик с досады, так что затрепетали широкие листья и уже завязавшиеся плоды – крошечные гроздья, но не переменила положения. В беседке была нестерпимая жара. Солнце желто-белыми пятнами ложилось на скамью, где лежала Нюра, на ее светлое ситцевое платье и на кокетливый наряд смуглой Маргариты.

– Вася, – крикнула вдруг Нюра своим резким, точно всегда обиженным голосом, обращаясь к мальчику лет двенадцати-тринадцати, сидевшему подле, на столе. – Сколько раз тебе говорить, что неприлично смотреть человеку в лицо два часа, как ты делаешь! Что ты с Маргариты глаз не сводишь? И еще усмехаешься глупо.

Вася вздрогнул и боязливо покосился на двоюродную сестру. Лицо у него было не по летам ребяческое, всегда встревоженное, неумное, с маленьким вздернутым носом, и выпуклыми, рыже-карими глазами, добрыми и воспаленными.

– Я что же, – сказал Вася. – Я ничего. Ты не сердись, по-

жалуйста, Нюра. Я о своем думал. И еще думал вот о Маргарите Анатольевне. Она мне вчера эту венгерскую песню на фортепьяно играла. Я и думал, подходит она к песне или нет.

– Вот пустяки, – сказала Маргарита.

Она улыбнулась и показала очень ровные и белые зубы. Нюра завидовала Маргаритиным зубам, потому что у нее они были редкие и некрасивой формы. Каждый раз, когда одинаковое чувство зависти кололо ей сердце, она одинаковым образом себя утешала. Зубы, положим, красивые, а все-таки Маргарите неизвестно сколько лет, может быть, двадцать семь, а может быть, и больше, а ей, Нюре, наверно, шестнадцать. И хотя эти шестнадцать лет самой Нюре не дают никакого наслаждения, но она знает, что Маргарита завидует – и рада этому.

– Папа сказал, что он тебя непременно к твоей матери отправит, если не будешь учиться, – сказала Нюра грубо, опять обращаясь к Васе. – Ты к осени хоть в прогимназию должен поступить. Ведь ты в третий класс не выдержишь! А хоть здесь и небольшая радость круглый год торчать, однако все же, я думаю, лучше, чем у твоей прелестной мамы! Господи! Какая скука! И подумать – по крайней мере год еще здесь!

Маргарита пожала плечами.

– Возьмите серьезную книгу. Я читаю Тэна, об уме и познании. Могу вам дать первую часть. А с августа начнется сезон, нечего жаловаться на скуку.

– Сезон!

Нюра даже вскочила и села на скамейку. Ее соломенно-го цвета волосы с темноватыми прядями на висках растрепались; свежее, широкое лицо, с вечным выражением тупой скуки, покраснело; на него легли слабо трепещущие пятна солнца.

– Сезон, – повторила она. – А нам сезон здесь, на горе, в трех верстах от города? Как сидели три месяца, так и будем сидеть! Кто сюда пойдет, в эту глушь? Самим идти в Ялту, чтобы вернуться без сил, после подъема на наш Монблан! Даже лошади его не берут. И что за охота идти в город, где ни души не знаешь? Это вам весело, вам кажется, что всякий незнакомый франтик, если он идет по той же дороге, уже прельщен вами и преследует вас! А за мной не побегут, да и не того я желаю!

Красивое смугло-желтое лицо Маргариты нахмурилось. Она хотела ответить резко, но сдержалась и произнесла с презрительной холодностью:

– Какая вы еще девочка, Нюра! Видно, что не выезжали. Да я думаю, вам и рано. Год в глуши – если это глушь – будет вам полезен, уравновесит вас.

– Очень я думаю о ваших выезжаньях, – вскрикнула Нюра. – Это у вас в Киеве есть еще допотопные правила «вывозить» барышень, которые, в свою очередь, рады этому «вывозу», думают о женихах и на это жизнь кладут! Господи! Только кончила гимназию, только что открылась дорога,

хотелось идти к истинным честным людям, хотелось понять, что такое жизненная борьба, учиться правде у других, работать, может быть, а главное, понять, как и чем живут эти другие, и вдруг – трах! Эта папочкина болезнь, годовой отпуск – и здесь, на горе, без книг, без общения с людьми – с этим Васькой, который свои канты распевает, с Вавой полоумной да с папочкиным пасьянсом! Это трагедия, трагедия!

– Познакомьтесь со студентом, – сказала Маргарита равнодушно.

Нюра удивилась и спросила тише:

– С каким студентом?

– Да с каким-нибудь. Придет какой-нибудь. Вот у хозяина нашего есть, кажется, студент – племянник. Мы и хозяина еще не знаем, но он на днях придет. Так можно попросить, чтоб он для вас студента выписал.

Нюра укоризненно и с достоинством покачала головой.

– Вот видите, у вас только злое на уме, Маргарита. Ведь это глупо, что вы сказали. Со студентом, если придется, познакомлюсь, а ваша нелепая фраза доказывает, что вы меня не понимаете. И не говорите мне, что вы тоже скучаете. Вы по вечерам по кавалерам киевским скучаете. А я ухаживаний ваших не знаю, да и знать не желаю. Я жизни хочу! Борьбы, деятельности, труда! Вы с Вавой про ухаживания говорите! У нее уже висок седой, а все еще только любовью и грезит да птичкой поет. Наградил Бог тетенькой!

Маргарита опять сдержалась.

– Напрасно судите то, чего, сами же говорите, что не знаете.

– Прежде чем на борьбу стремиться, Тэна бы почитали. Ведь так и валяется первая часть.

Нюра хотела окончательно рассердиться, но ей стало лень и жарко. Она посмотрела на Маргариту, щурясь от мигающих солнечных бликов, лениво вздохнула и опять улеглась на скамью, подложив руки под голову. Маргарита не могла лечь, потому что у нее был очень узкий и высокий корсет. Она только устало прислонилась к столбу беседки. Лица обеих девушек, на минуту оживленные спором, приняли то серое, тупо-кислое выражение, которое является у праздных женщин, когда они остаются одни. Неумное лицо Васи было живее. Он куда-то глядел, прямо, и тонко, про себя мурлыкал не то песню, не то стих.

Нюра медленно повела глазами и спросила:

– И ты скучаешь?

Вася опять вздрогнул от неожиданности, потом засмеялся.

– Где?

– Ну да здесь, я спрашиваю.

– Сейчас?

– Господи, какой глупый! Ведь слышал о чем говорили.

– Нет, не слышал, – откровенно признался Вася. – Тут сколько всего произошло, а вы и не видали! Пока вы говорили, я все смотрел. Сначала жук прилетел, сел на виноград-

ный лист – и упал. Тяжел очень. Потом муха разноцветная чистила лапки на солнце, а вдруг на солнце облако нашло. Муха не поняла, почему потемнело, испугалась и притворилась мертвой. А облако на солнце нашло ровное, как круг, белое с желтыми краями. Потом змея выползла вон оттуда, справа, из травы, вытягивалась и мотала языком, чешуя у нее, как края у облака, с желтыми пятнышками. Помотала языком и улезла налево. Вот теперь скоро назад должна идти.

– Ай, где? Где? Что ж ты раньше не сказал? – вскрикнула Маргарита, вскакивая с ногами на скамейку. – Слышите, Нюра, змея!

Нюра тоже испугалась, но на скамейку не вспрыгнула. Она была слишком плотна и широка.

– Куда вы? – закричал Вася, видя, что барышни уходят. – Чего ж вы? Она, ей-Богу, ничего! Она не хочет кусать! Она по своим делам пошла!

Но Нюра и Маргарита были уже далеко. Лицо Васи опечалилось. Он жалел, что сказал про змею и что его не так поняли. Но он остался все-таки ждать, когда она пойдет назад, глядя пристально в одно место карими воспаленными глазами и стараясь не петь, хотя ему очень хотелось петь, как он всегда пел про себя. Солнечные пятна дрожали на его стриженной голове.

II

Обедали на балконе, хотя балкон был весь в солнце и горячие лучи пронизывали занавесы из парусины. Но Андрей Нилыч приехал в Крым для тепла и уверял, что лечится солнцем. Он был очень слаб и худ после перенесенной в Москве жестокой грудной болезни, широкий чесучовый пиджак болтался на нем, как на вешалке. Белокурая борода сильно посерела. Он радовался тому, что поправляется, что ему дали годовой отпуск и что так хорошо он придумал нанять отдельную, тихую дачу вдали от города; но порою, не сознаваясь себе, скучал от праздности, оторванный от своих привычных занятий. Двадцать лет ходил на службу – а теперь некуда идти. И служба эта, собственно, была не нужна, деньги водились и помимо жалованья; но ненужное дело все-таки наполняло жизнь. В минуты злобной тоски Андрей Нилыч капризничал, плаксивым, тонким голосом бранил няню Кузьминишну, которая нянчила его и его сестру Ваву; Ваве тоже доставалось. Потом все проходило, Андрей Нилыч вспоминал, что он болен и лечится, что ему уже лучше и что в Ялте прелестный климат. Он принимал усталый вид, спрашивал Маргариту о ее здоровье (Маргарита была дочь его старинного киевского приятеля; она всю зиму хворала, и Андрей Нилыч предложил другу прислать ее к ним), хвалил климат Ялты. Потом ему приносили карты, и за длинным и

сложным пасьянсом он окончательно успокаивался.

Перед балконом была площадка и длинная гряда синевато-лиловых ирисов. Потом шел обрыв с кустами, внизу виднелась дорога. Два хребта гор, серых, с темно-зелеными пятнами, бежали слева направо, от севера к морю. Ближний был ниже и кончался раньше моря, а дальний подходил к морю обрывистыми скалами. Эти две стены так прямо и шли перед балконом, а море лежало вправо, внизу, и ясно был виден только залив. Ялта, маленькая и хорошенькая, жалась к морю. Белая церковь стояла высоко, на горе.

Солнце лизало верхушки гор, которые стали темно-лиловые. Потом зашло за первую стену. Видно было, что оно еще не за горизонтом, потому что из ущелья к самой Ялте шел дымно-желтый сноп лучей.

Осторожный Андрей Нилыч ушел в комнаты на некоторое время, боясь заката по привычке, хотя было лето и жара. Маргарита читала книгу, вероятно Тэна, Вася ушел гулять в парк, Нюра в отцовском кресле тоже перелистывала какую-то книгу. На ступенях крыльца устроилась Варвара Ниловна. Она молча и без особых мыслей смотрела вниз, на Ялту, на розово-бледный горизонт моря. Около нее на подоле лежала довольно большая, пестрая, старая собака, которую звали Гитан. Собака была здешняя, почему-то привязалась к Варваре Ниловне и не отставала от нее.

Пароход звучно, гулко и радостно крикнул внизу. Его хорошо видно, он большой, черный, с красной полосой у воды.

Видны, если присмотреться, и темные копошащиеся фигурки пассажиров. Кто-то приехал? Наверно, кто-нибудь интересный. Варвара Ниловна, или Вава, как ее зовут решительно все и она сама, улыбнулась про себя. Ей было весело. Она любила представлять себе – приятные вещи и всегда ждала хорошего впереди. Маргарита и Нюра тоже ожидали себе хорошего впереди, но слегка боялись за него и злились на настоящее. А Вава не боялась и потому не злилась. Она просто ждала.

Прошло еще несколько времени. Сильно темнело. Нюра зевнула, отложила книгу и рассеяно посмотрела на горы, которые теперь стояли черные, как сажа. Небо, впрочем, еще не успело потухнуть. Неясные, полуслышные звуки людской суеты, казалось, наполняли воздух. Но они исчезали, если с ним прислушивались. В далеких деревьях парка пронзительно стонали лягушки. Чуть слышный стук колес, слабый, но несомненный и беспокоящий, потому что был непривычен, донесся вдруг с нижней дороги.

В эту самую минуту около балкона мелькнула фигура Васи. Белая фуражка сидела на затылке. Вася был очень взволнован.

– Послушайте, – крикнул он. – Сегодня приедет! Едет! Сейчас только в кухне узнал, от садовника! И чего они молчали!

– Кто приедет? – спросила Нюра с любопытством.
Вася торжественно провозгласил:

– Генерал!

Нюра рассмеялась довольно презрительно, поняв, что дело шло о Радунцеве. Она знала, что Радунцев стар, живет в Москве, тайный советник и бывший профессор астрономии. Он вдов, дети живут отдельно, сам он приезжает каждое лето на свою крымскую дачу, причем живет в мезонине, а низ сдает.

– Вава и Васе какая радость! – произнесла она. – Вава обожает генералов. Жаль, что не военный. Ну да ничего. А ты, Вася, больше бы радовался, если бы не генерал приехал, а иеромонах? Кого больше любишь?

Вася серьезно принял вопрос и задумался, колеблясь. Но в эту минуту он увидел, что коляска, обогнув гору (ее редкие лошади брали), медленно подъезжает к ограде двора, за балконом, с другой стороны дома. Ничего нельзя было разобрать, темное пятно двигалось, только впереди ползли два огненных глаза фонарей. Гитан выпрямился, прислушался и вдруг с тонким визгом бросился вперед. Вася тоже не выдержал. Немного обидевшись на Нюру и Маргариту, которые упорно не двигались с места, он обратился к Ваве:

– Вава, а? Пойдем посмотрим! Мы сбоку, с веранды. А садовник огня вынес. Увидим!

– Ну, пойдем! – весело сказала Вава, подбирая подол своего темного распашного капота. – Только смотри, чтобы сбоку!

Садовник, точно, вынес фонарь, а потом и лампу на

крыльцо. Светлое пятно, сгущая мрак кругом, легло на ступени, кусок дороги и коляску. Вверху были освещены деревянные переплеты веранды с бледными от лучей лампы листьями и частыми, большими, тяжелыми розами желтоватого цвета. Рядом с садовником, который был немного пьян и потому невнятно бормотал какие-то длинные приветствия, стояла садовникова жена, а около нее тщедушный солдат Иван с болезненно-обиженным лицом, поляк. Он не принадлежал к слугам генерала, его наняла няня Кузьминишна, чтобы он каждый день ходил в город за провизией и почтой; но он считал долгом присутствовать при встрече хозяина.

Из коляски вылезла женщина. Она была в черной косынке, с острым носом и крепко сжатыми губами. Она кивнула головой садовнику и садовниковой жене. Иван посмотрел на ее фартук и понял, что это генеральская кухарка. Садовник поставил лампу и протянул было руки. Но женщина в косынке отстранила его и с привычной ловкостью помогла генералу сойти с подножки. Вава и Вася из-за угла, с боковой веранды, увидели довольно высокого старика, сгорбленного, скорее согнутого слегка вперед, в черной крылатке. Из-под широкой панамы смотрело усталое лицо с ижелто-белой подстриженной бородкой. Маленькие старческо-голубые глазки мигали. Губы тоскливо шевелились. Он, вероятно, был очень стар.

Вава заметила его изящную толстую палку, красиво подстриженную бороду и дорогую шляпу. Генерал ей понравил-

ся. Она подумала: «В нем есть что-то аристократическое». И от этой мысли он ей сейчас же больше понравился. Когда генерал и встречавшие ушли внутрь, Вава захотела проверить свое впечатление и спросила Васю:

– Правда, в нем есть что-то изящное?

– Да, – сказал Вася, жмуря глаза. – Очень изящное! – Генерал! – прибавил он с упоением. – Вава, а ведь тайный советник выше архимандрита? Или архимандрит выше?

Вава рассеяно посмотрела на мальчика. Она не знала, кто выше, ей было все равно.

У запертого крыльца хрипло и надрывчато визжал пестрый Гитан, ударяя иногда в дверь передними лапами. Он хотел к генералу, которого обожал терпеливо и кротко. Он ждал его много месяцев, а теперь его едва допустили поздороваться, не дали даже лизнуть в лицо и, наконец, отдалили окончательно. Гитан, впрочем, не возмущался. Он давно привык к общей несправедливости, так что она ему стала казаться справедливой. И в его визге не было негодования, а только упорная и кроткая мольба.

За чаем, в столовой, Андрей Нилыч, по обыкновению, раскладывал пасьянс, Вава пришивала сосредоточенно какую-то пуговицу, а Маргарита и Нюра никак не могли удержаться и начали спрашивать Васю про генерала.

Вася был в восторге. Он уже обожал генерала. Вася находился под обаянием всевозможных чинов, но как-то не разбирался в их значении и проникался таким же благоговей-

ным трепетом перед званием певчего придворной Ливадийской церкви, как перед званием фельдмаршала, умилялся перед формой унтер-офицера, потому что у него на рукавах нашиты галуны сплошным золотым углом, и думал, что Бортнянский, который сочинил такую удивительную обедню, не может быть ниже самого первого чина, названия которого он, Вася, и не знает. Года полтора тому назад, после смерти Васиного отца, брата Андрея Нилыча, Андрей Нилыч взял Васю к себе. Его привезли из Тамбова, странно одетого, едва умеющего читать, вечно распевającego духовные канты. Он был доверчив, весел, думал, как пятилетний ребенок; не очень горевал в разлуке с матерью. Она была женщина полусумасшедшая: на Васиных глазах то бегала по монастырям, то влюблялась в лакеев. С сыном рассталась равнодушно. Васе странное казалось таким же простым, как и простое. Он всему равно верил, не думая, что есть ложь, и всему готов был радоваться.

– Генерал! Настоящий генерал, – говорил он, захлебываясь. – В нем что-то изящное. Правда, Вава? Очень. И прислуга у него. Шляпа широкая, желтая...

Она с давних пор привыкла каждого мужчину, о котором шла речь, примерять мысленно, годился бы он ей в женихи. Это делалось машинально, и так уже давно делалось, и такая тут была сила привычки, что, вероятно, и после замужества Маргарита не избавилась бы от этой неизменной мысли.

– Очень стар! – с прежним восторгом воскликнул Вася,

у которого не было таких мыслей. – Едва движется, вот как стар! Из коляски прямо выкинули!

– Ну уж не ври, пожалуйста, – недовольно перебила Вава, перекусывая нитку. – С чего ты взял? Просто пожилой. Устал с дороги.

– Влюбилась, готово! – произнесла Нюра. – Вы знаете, Маргарита, наша Вава против генерала устоять не может. Ее идеал – рыцарь Делорж, а так как теперь рыцарей нет, то она думает, что рыцарство втайне сохранилось лишь в генералах. Героя, словом, ищет. А кто же герой, если не генерал?

Все улыбнулись. Вава добродушно рассмеялась и ничего не сказала.

– Пожалуйста, Маргарита, – продолжала Нюра язвительно, – вы уже не отнимайте у Вавы ее генерала. Вы ведь ее единственная соперница. На меня он не удостоит обратить внимания, подумает, что я еще у кормилицы...

– Не беспокойтесь, – холодно возразила Маргарита, обиженная намеком. – Я уж подожду вашего студента, авось он скорее попадетя в мои сети.

Андрей Нилыч зевнул. Пасьянс у него только что вышел.

– Ну, деточки, поздно. Расходитесь. Завтра увидим, что за генерал. Батюшки, как возится наверху! Надо ему сказать, не забыть, чтобы дверь входную велел поправить. Совсем не затворяется.

III

Вася спал за перегородкой в передней. Долго слышно было, как он раздевался, потом вздохнул, но не от печали, а от полноты чувств, потом молился Богу на коленях и с усердием клал земные поклоны, слушая, как лоб стучит об пол. Наконец, повозившись, затих. На цыпочках миновав переднюю, Вава прошла к себе, в длинную просторную комнату, где она спала с няней. У няни был свой уголок, отгороженный кумачными ширмами. На деревянном треугольнике стояли образа с темными ликами, в серебряных ризах. Деревянный точеный образок, желтый, Варвары-великомученицы, с деревянным сияньем вокруг головы. Сзади была положена муаровая малиновая бумага, лампадка в виде рюмки с широкой ножкой из зеленого стекла горела перед образами. Живой поплавок поддерживал светильню, которая бросала мерцающие, зелено-бледные лучи вниз, на завешенное окно, на белую скатерть стола.

У другого стола няня складывала под лампадой вязанье, собираясь ложиться. Она повернула строгое, заботливо-недоброе лицо и, увидав входящую Ваву, стала вдруг ласковой. Черные глаза улыгнулись. Няня, на которой лежало хозяйство, уход за больным, счет деньгам, весь дом, вечно была озабочена, занята, ворчлива; у нее не было времени любить кого-нибудь. Одну Ваву она любила особенной любо-

вью и считала ее родной. Для нее Вава была девочкой, и она баловала ее яблочком, черносливом, хотя мечтала для нее и о женихах.

– Что, Вавинька? – сказала она. – Спать пора. И пора-то прошла.

– Я ложусь, няня. Чего-то спать не хочется.

– А ты ляжь, благословясь, так и уснешь.

Вава подошла к постели и села на кровать, не снимая темного капота.

– Няня, хорошо здесь, – сказала она.

– Где, деточка?

– Здесь, на даче.

– Здесь солнышко горячее, – задумчиво сказала няня. – Моим старым костям хорошо. Намедни села с вязкой у окна, а солнышко на руки. Уж так прогрело, так прогрело... Со-всем другое солнце. Да тебе это что ж. Человек молодой, у тебя другое на уме. Поди, скучно тебе-то.

– Нет, няня, мне и солнце... А чего же скучать? Я знаю, ты скажешь – нет общества. Но это временно, няня, я не скрываю, люблю общество. Только если судьба встретит ко-го-нибудь интересного – я и здесь встречу. Ах, няня, сколько есть интересных людей! Только ты знаешь мой вкус. Я ка-кого-нибудь не полюблю. Мне нужен характер. И чтобы из-вестное изящество было. И встречаешь иногда, и веришь, а потом вдруг оказывается тряпка и совсем не то.

– Да, вот и не то! – полуворчливо произнесла няня, убирая

что-то на столе. – Слава Богу, какие попадались, а все тебе не то, все, глядишь, дело-то и разладится. И в Москве, слава Богу, жила у покойной Анны Ниловны, и везде жила-и все судьба не выходит. А пристроиться оно-то лучше.

– Я знаю, няня... У Анюты я была – теперь у Андрюши... Он болен, у него семья... Мне нужно свое положение иметь, ведь денег я ничем не могу Андрюше заработать... Только как же так за первого попавшегося замуж выходить? Я без любви не могу выйти. Это гадко.

Няня уже умилилась:

– Да что ты, глупенькая? Кто тебя заставляет? В тягость ты, что ли, Андрею-то Нилычу? Жди себе с Богом своей судьбы... Денег, видишь ли, она не может зарабатывать! Да видано ли, чтоб девушки деньги зарабатывали? Это пускай ужо Нюрка. У нее модность-то всякая. А ты, слава Богу, не из нынешних!

Она обернулась и, любя, взглянула на Ваву.

Вава все так же сидела с ногами на кровати, обняв колени обеими руками. Двойной свет, красно-зеленый, от лампы и лампадки под образами освещал ее фигуру, согнутую в комочек, в темном ситцевом капоте и продолговатое лицо. Вава была еще несколько лет тому назад очень красива... Теперь от этой красоты остались только следы. Смуглое, правильное лицо пожелтело, около больших карих глаз легли коричневые круги. И на поблекших чертах лежало странное выражение деятельности, порою юношеского веселья и ожи-

дания. Как будто жизнь прошла сверху, не коснувшись души. Да жизнь и не проходила: Вава жила вся в будущем и не замечала, что это будущее никогда не приходило. Детство свое Вава мало помнила; вероятно, ее учили чему-нибудь, давно, но ничем не заинтересовали. Читала она только старые переводные французские романы – няне вслух. Любила общество, любила – слегка – всех людей, которые ее прежде находили красивой и которым она раз навсегда поверила добродушно и счастливо. Она ждала любви, выбирала, хотела, чтоб ее завоевывали, искала каких-то неясных «идеалов» из французских романов и не находила. В последние годы ей смутно стало приходиться в голову, что нехорошо жить вечно у брата, что хорошо бы выйти замуж. Но свежие губы ее улыбались с прежней добротой. Няня не замечала, как стареет ее любимица. И Вава не замечала сама. И если смутное, неосознанное чувство приходило к ней, оно было мимолетно, и она не хотела его сознавать.

Вава всех любила за то хорошее, что с ней будет впереди. И ей всегда было хорошо.

– Спать ложись, – настойчиво проговорила няня и потушила лампу.

Огонь метнулся вверх, оторвался от фитиля и исчез. Спокойные зеленые лучи лампадки ярко лежали на полу. Узкое лицо Вавы казалось бледнее и моложе. Она распустила негустые каштановые волосы, встряхнула ими и потянулась. Няня стала молиться Богу. Вава быстро сбросила капот, туфли

и улеглась. Несколько минут она еще видела мерно кланяющуюся няню и ее мутную, громадную тень на стене. Потом ей опять вспомнилось, что все так хорошо и интересно и что никто не может знать, что еще будет завтра. Она закрыла глаза, и все тихо слилось и стерлось.

IV

На другой день генерал сделал визит. Андрею Нилычу понравилось, что хозяин так предупредителен, и он вышел к нему в очень хорошем настроении. «Старый такой, генерал, и первый сейчас же явился, – думал Андрей Нилыч, – вежливый человек».

Генерал, однако, показался ему не очень дряхлым. Он был, действительно, сед, даже с желтизной, но на голове белые волосы, хотя и редая, еще слегка завивались. У него была славная улыбка, обнажавшая хорошие зубы, и хотя видно было, они вставные, однако это не казалось неприятным. Красноватой рукой, когда-то красивой, но теперь со старчески негибкими пальцами, он тяжело опирался на свою массивную трость, даже когда сидел. Ходил, впрочем, бодро и твердо.

Андрей Нилыч принял гостя на балконе. Там была еще тень, только на ступени крыльца уже легли из-за угла первые лучи горячего солнца. Генерал сидел, опираясь на свою трость, и говорил немного глухим голосом, с легкой старческой невняtnостью, о том, как теперь плохо в Москве и в каком хорошем состоянии он нашел свои штамбовые розы. Он говорил с Андреем Нилычем, но иногда оборачивался к барышням, Маргарите и Нюре, и очень вежливо, со старинной галантностью им улыбался. Он вообще был похож на старо-

го московского барина из родовитой семьи – и очень мало на профессора. Маргарита заметила его широкое, прекрасно сшитое платье и красивый старческий профиль. Она подумала, что он похож на Тургенева, только у него нос прямее. Потом ей вспомнилось, что все старики, когда у них белая подстриженная бородка, похожи на Тургенева. Генерал нюхал табак из тяжелой золотой табакерки.

– Я очень доволен, – говорил Андрей Нилыч. – Здоровье мое видимо поправляется. Конечно, уединенно... Но даже и барышни не скучают.

Генерал опять с изысканной учтивостью улыбнулся в сторону барышень и спросил:

– А могу я узнать, услугами какого доктора вы здесь пользуетесь?

– Доктор Пшеничка... Я думаю, вы его знаете. Он был мне рекомендован. Он бывает здесь раз в неделю.

– А, милейший Пшеничка! Знаю, знаю... Он и ко мне заходит. Хороший человек, неунывающий. Я и супругу его покойную знал. Он ведь остался – пять человек детей на руках! А в доме порядок на диво. Достойный, очень достойный. Я ему все жениться советую. Практика теперь недурна...

Вася, который сидел в уголку около растянувшегося Гитана (он не отставал от генерала ни на шаг) и с благоговением слушал, вдруг в восторге вскочил:

– Дядя! а дядя! Я тебе не говорил! Меня Пшеничка в го-

сти звал. Что показать обещался! Дядя, а?

Генерал вздрогнул от неожиданности. Андрей Нилыч нахмурил брови, а Маргарита сказала:

– Можно ли так кричать, Вася!

Вася сконфузился, заробел и спрятался, прежде чем генерал успел сказать ему одобрительное слово. Нюре не нравился генерал. Во-первых, он генерал, а она презирала чины; во-вторых, он смешон со своими допотопными манерами, а никто этого не видит, все точно заискивают у него. Генерал, однако, не понимал взглядов ненависти, которые кидала на него Нюра; он, напротив, поглядывал на нее с удовольствием, такая она была белая, крупная и полная. Генерал посидел достаточно и собирался уже уходить, как вдруг в дверях, несмело улыбаясь, показалась Варвара Ниловна. Хотя она и любила «общество», но была по натуре робка и смущалась при новых знакомствах, особенно последние годы, когда она смутно чувствовала, что уже некрасива. Одеваться она тоже никогда не умела: любила вычурное и яркое или распашные темные капоты. Волосы причесывала как-то не то по-своему, не то по-японски, вверх – это, впрочем, ее иногда молодило. Она была невысока ростом и не очень стройна; теперь синее, довольно светлое платье не очень ловко охватывало ее тонкий, но не привычный к корсету стан; впрочем, смущение делало интересным ее увядшее лицо.

Генерал приподнялся. Андрей Нилыч испугался, что опять выйдет недоразумение, которое было уже не раз: Ваву

принимали за его жену, мать Нюры, отчего Нюра после смеялась сдавленным смехом, а Вава страдала. И он поспешил сказать, забыв, что ему следует представить гостя:

– Константин Павлович, моя сестра, mademoiselle Сайменова.

Тут уж, по крайней мере, все было ясно. Вава приветливо подала руку генералу и села к столу. Через минуту она завладела разговором, спрашивала его о самых обыкновенных вещах, болтала что-то о работах в парке, ошиблась, посмеялась над своей наивностью, ввернула кстати французское слово, хотя по-французски вообще говорила не очень свободно. Она занимала гостя с привычной, старой, удобной манерой, с дамской кокетливостью, впадая в наивность. Генералу это нравилось. Он отвечал впопад, не думая, и только однажды ему показалось, что в Варваре Ниловне есть что-то вульгарное, что-то «не из общества»... И ошибся, потому что, если действительно Ваве не хватало некоторой манерной утонченности, то вульгарна она не была.

Нюра, однако, с отвращением подумала: «Господи! С этим уж кокетничать начала! Экая мерзость! И о чем говорят? Фразы-то какие откалывают! Вместе обоим чуть не двести лет!» И она сказала громко, вставая:

– Вы не пойдете на родник, Маргарита?

Маргарита встала, но тут заторопился и засидевшийся генерал. Он оперся на трость, тяжело приподнялся, но как-то неловко отступил назад, к лестнице, и, вероятно, упал бы,

если бы Вава решительным движением не поддержала его и не дала оправиться. Он улыбнулся и пошутил над своей неловкостью, не желая признаваться, что ноги порою бывают у него слабы, и кинул благодарный взгляд на Ваву. Гитан тоже поднялся, чтобы следовать за генералом. Но он любил и Ваву. Он встал на задние лапы, положил передние ей на плечи и лизнул в лицо...

– Гитан со мной прощается, – сказала Вава. – Без вас он от меня не отставал. А теперь, хотя и с извинением, а все-таки пойдет за вами в парк.

– А вы разве никогда не гуляете? – любезно сказал генерал. – Если бы вы теперь вздумали сойти на нижнюю дорожку, к цистерне, я показал бы вам кактус, о котором говорил.

Он не говорил о кактусе, он спутал, по обыкновению, потому что уже часто забывал свои слова; но Ваву это не смущало:

– О да, я гуляю, особенно в этот час, – весело воскликнула она. – Я только возьму зонтик. И пойду с вами, чтобы... доставить удовольствие Гитану, – прибавила она с задорной и неудачной кокетливостью, убегая.

Через минуту они шли от крыльца по освещенной солнцем дорожке. Нюра и Маргарита еще видели, как генерал галантно предложил Ваве руку и она ее приняла. Старый Гитан, довольный, прихрамывая, бежал сбоку.

– Что ж ты нейдешь гулять, – насмешливо сказала Нюра Васе.

Вася махнул рукой и сказал только «эх!» Он еще не оправился от своего неудачного вмешательства в разговор. Однако не выдержал, взял фуражку, скользнул с крыльца и поплелся в парк, уничтоженный, мрачный и влюбленный, размышляя и никак не умея разобраться в мыслях.

V

Доктор Пшеничка был из поповичей. Он так и остался поповичем, маленький, юркий, белокурый, в очках, в широком парусиновом пальто. Вечные его прибаутки и резкий смех веселили Андрея Нилыча. Вава его считала за ничто и говорила, что он, по ее мнению, в медицине понимает мало. Нюра стала было заговаривать с ним о каких-то насущных вопросах, но он отвечал одними прибаутками. Ему нравилась тонкая, молчаливо-томная Маргарита. И как-то вскоре после приезда генерала Пшеничка, сделав обычный визит Андрею Нилычу, сказал:

– Ну-с, а теперь пойду засвидетельствовать мое почтение его превосходительству. Мы с ним старинные друзья.

– Он в парке, – сказала Маргарита.

– Не проведете ли меня туда, Маргарита Анатольевна? Кстати, мне нужно с вами перемолвить словечка два. Давно собирался, да все времени не улучишь.

Андрей Нилыч вообразил, что Пшеничка хочет сказать что-нибудь печальное и важное о состоянии его здоровья, и выбрал Маргариту, как самую солидную и ему постороннюю. Он побледнел, но улыбнулся и сказал:

– Идите-ка, в самом деле. А тебе, Нюра, я письмо одно хотел продиктовать. Ты уж останься.

Маргарита надела широкополую соломенную шляпку и,

слабо улыбаясь, подала руку Пшеничке.

Когда они вышли, Андрей Нилыч почувствовал себя почти дурно от любопытства и тревоги. Сказал Нюре, что пойдет на четверть часа к себе отдохнуть, но, минуя столовую, увидел Васю и подозвал его к себе.

– Вася, ты что? Гулять идешь?

Вася посмотрел на него грустно. Ему не везло в последнее время. С генералом, которого он безмолвно обожал, он никак не мог сойтись от радости. К тому же генерал все сидел на одной и той же узкой скамеечке под миндальным деревом, у цистерны. Туда к нему непременно приходила Вава и читала ему вслух громадную, как простыня, газету, которая называлась «Московские ведомости». Еще потом Вава сказала Андрею Нилычу, что она «во всем, во всем» разделяет взгляды этой газеты, а когда слегка либеральный Андрей Нилыч стал расспрашивать ее подробнее об этом «всем», она смутилась, потом заплакала и сказала, что не изменит своим убеждениям, хотя бы ее и преследовали. Нюра вышла, хлопнув дверью, Андрей Нилыч рассердился и сказал Ваве, что она глупа и что у нее нет никаких убеждений. Вася слушал и внутренне замирал от восторга и зависти. Он понимал, что Ваву преследуют за убеждения генерала. Он рвался сердцем разделить эти убеждения, какие бы они ни были, и терпеть преследования, как Вава терпит, – пострадать, если нужно. Он хотел, чтоб генерал узнал об этом, – но как ему сказать? Через Ваву разве?.. А если она... не захочет, чтобы он стра-

дал за то же, за что и она? И, пожалуй, узнают Нюра и Маргарита, не поймут, станут смеяться... К другу своему Пшеничке Вася сильно охладел.

– Нет, дядя, – печально сказал Вася, когда Андрей Нилыч спросил его, идет ли он гулять. – Я тут посижу.

– Чего сидеть? Все гуляют... Да. Вот и Маргарита с Пшеничкой пошли. Да...

Андрей Нилыч смущался и не знал, как начать.

– А вот, знаешь, Вася? Ты бы пошел... И они пошли. Что-то интересное хочет Пшеничка Маргарите сказать о генерале, – прибавил он, зная Васину слабую струнку. – Маргарита мне скажет, да только где ж ждать? Когда еще она вернется! А ты, знаешь... побегу – да за кустами, за кустами... И услышишь... Тогда марш сюда и скажи мне скорее... А?

– Я – хорошо, дядя, я сейчас, согласился мальчик весело. – Только зачем же за кустами? Я к ним подойду, а как Пшеничка все скажет – як тебе...

– Фу, какой глупый! Станет Пшеничка при тебе говорить! Для него это секрет. А ты потихоньку. Потом уж мы ему скажем, что ты слышал, после. И смотри, словечка не пророни! Они там о моем здоровье будут говорить – ты хорошенько запомни... Это тоже – слышишь? Тоже к генералу относится...

Вася, довольный и гордый возложенным поручением, уже бежал через двор, соображая, в какие кусты ему лучше забраться. Он так был занят своими важными мыслями, что с

размаху налетел на Катерину, ту самую экономку или кухарку с острым носом, которая находилась при особе генерала.

Вася благоговел перед Катериной и боялся ее. Он едва не сбил ее с ног и стоял теперь ни жив ни мертв.

– Это еще что? – прошипела Катерина. – Толкаться, озорники эдакие? Ну уж жильцы, прости Господи! Эдаких жильцов... Да вот я доложу про эти вещи генералу. Что они скажут.

Вася облился ужасом.

– Катерина, милая, – прошептал он. – Ради Бога, не жалуйтесь на меня генералу. Я нечаянно. Я все готов... А я бежал... Дядя меня послал... Там говорить будут секрет, так я должен слушать... Про генерала будут...

Катерина хотела возразить что-то злое, но вдруг остановилась и пристально посмотрела на Васю.

– Ну чего же вы стоите, – сказала она менее жестко. – Идите, куда идете. Да тихонечко идите, неравно опять кого-нибудь убьете. Ладно уж, ладно. Ничего. Идите, куда посланы.

Вася, немного успокоенный, мерным шагом пошел к парку. Он уже сообразил, в каких кустах ему удобнее спрятаться.

Между тем Пшеничка, едва войдя с Маргаритой за ограду парка, не мешкая приступил к делу. Он точно предчувствовал, что на его секрет посягают.

– Вы, может быть, удивитесь моим словам, Маргарита Анатольевна, но уж я, извините, предисловий больших де-

лать не могу. Я человек простой, немудрый, размазывать ни чужих, ни своих психологий не умею, как это нынче повелось, да и времени, по-моему, тратить на такие вещи не стоит. А потому скажите мне, чтобы уж я знал, угодно вам меня выслушать до конца?

Они шли по прямой бестенной дорожке; дальше, впереди, чуть под горой, толпились деревья, разноцветно-зеленые, яркие, в солнце. Под ними угадывались влажные тени и резкие, душистые запахи. Здесь по обеим сторонам тянулись невысокие стволы штамбовых роз. Теплые, крупные, матово-малиновые цветы раскрыли лепестки под солнцем. Малиновые розы пахнут вареньем и бархатом.

Маргарита приостановилась и взглянула сбоку на Пшеничку. Из-под некрасивой соломенной шляпы падали на виски пряди прямых белокурых волос. Очки были дымчатые, от солнца. Маргарита отвела взор направо, на куст вычурной, некрасиво-серой мимозы. Она тоже раздвинула все свои зубчики и томно принимала горячие лучи.

– Пожалуйста, говорите, – сказала Маргарита кратко, входя в тон собеседника.

Пшеничка поправил шляпу.

– Так вот, Маргарита Анатольевна... Пользуясь вашим позволением, я приступаю к делу... Я имею честь просить вашей руки, – закончил он круто.

Маргарита совсем остановилась и взглянула на него без удивления.

– Вы делаете мне предложение? – спросила она.

– Да, я прошу вас быть моей женой. Позвольте!.. – заторопился он, видя, что она хочет что-то сказать. – Я знаю все возражения, которые может сделать девушка на вашем месте. Я вас недостаточно знаю... Вы никогда об этом не думали... У меня много детей... Я не герой романа... Пусть, пусть. Не стану утверждать, что я вас безумно люблю. Но вы мне нравитесь. Знаю я вас настолько, чтоб не надеяться найти в вас идеальной матери моим детям. Но дети не будут вам мешать. Одного я отдам моей сестре, по ее желанию, девочек свезу в Москву, в институт; остальные двое смирны и имеют прекрасную бонну. Практика моя с каждым годом увеличивается, – положение в городе прекрасное. Если вы не чувствуете ко мне любви – это только к лучшему. Можно в будущем надеяться на привязанность. Вот что я вам предлагаю – и прошу сделать мне честь ответить на мое предложение.

– Вы хотите, чтобы я тотчас же дала вам решительный ответ? – начала Маргарита, вдруг смутясь. – Но я должна сказать вам...

В эту минуту недалеко, сбоку, за частыми деревьями слышался смех и веселый негромкий голос Варвары Нилловны. Слов генерала нельзя было разобрать, слышно было только его старческое покашливание.

– Тише, – произнесла Маргарита почти шепотом, – это опять Вава с генералом у цистерны сидят. Погодите, они, кажется, уходят. Вот скамейка направо, в акациях. Пусть они

пройдут.

Генерал и Варвара Ниловна, точно, прошли мимо, под руку. Генерал добродушно улыбался, прихрамывая; Вава была в светлом платье, помолодевшая и веселая. Она не то опиралась на руку генерала, не то поддерживала его. Гитан, покорный и преданный, следовал за ними.

– Нет, нет, Константин Павлович, – говорила Вава, смеясь, с откровенной манерой молоденькой девушки. – Давайте пари держать, а discretion¹ – хотите?

Они зашли за виноградник, и ответ генерала остался неизвестным.

Маргарита усмехнулась.

– Видели?

– А что ж? – с добротой сказал Пшеничка. – Давай Бог. Я сразу смекнул. Варвара Ниловна девица сердечная. Тут ничего такого, чтобы одна корысть, обвести старика. Она не хитрая, разумности особой в ней нет, а сердце горячее... Она его искренно полюбит и уж успокоит лучше другой. Он ведь одинешенек. Стар, конечно, да ведь и она не молоденькая, сорок-то, верно, есть? А он, я вам скажу, только на ноги слаб, а то какой здоровый! Веку не будет. Да-с.

– Да и богат, кстати, – сказала Маргарита колко.

– Что ж? И это слава Богу. Мне прямо весело за Варвару Ниловну. Надо же и ей пожить. Он, действительно, очень богат. Партия для Варвары Ниловны, при ее годах, прекрасная,

¹ Без предварительных условий (*фр.*).

самая подходящая. За границу поедут. Мало ли! Дай ей Бог!

Маргарита знала хорошо, что ей двадцать девять лет, что отец ее живет на жалованье и очень стар. Знала, что если она до сих пор при своем миловидном личике и развязности киевской барышни не нашла подходящего жениха, то дальше искать его будет невозможно. Она уже думала о Пшеничке, но не смела рассчитывать на него. Когда он несколько минут тому назад сделал ей предложение, она задрожала от радости, но по его тону поняла, что он отказа и не ждет, и ей уже тогда стало слегка досадно. Теперь же при мысли о Ваве, о глупенькой старой Ваве, которая будет генеральшей и очень богатой, досада и злобная зависть схватили Маргариту за сердце. У нее не было ни охоты, ни энергии начать теперь игру с генералом, чтобы, может быть, отбить его у Вавы. И время пропущено, и лень, да и гадко немного; но она вдруг с ненавистью посмотрела на белые космы Пшенички, на его поповское пальто и пальцы, желтые от папирос.

«Тот и старик, да изящнее, – подумала она невольно. – А этот мещанин какой-то. Обрадовалась! Мадам Пшеничка! Весело, нечего сказать».

И она прибавила громко:

– Почему же вы так уверены в добром расположении генерала к Варваре Ниловне? Он, кажется, не глупый человек, а она...

Маргарита усмехнулась. Кто-то завозился в кустах акации. Это был Вася, только что успевший догнать гулявших

и залезть в кусты.

Собеседники оглянулись, но все было тихо.

– Генерала года такие, – сказал Пшеничка, – что если он заметит, что возбудил искреннее чувство, – это ему польстит. А Варвара Ниловна полюбит его искренно. На что ему ум? Варвара Ниловна – как ребенок, и он скоро будет, как ребенок. И как еще им весело будет! Ручаюсь за счастливую жизнь! Вы посмотрите, он и теперь уж стал бодрее!

И Пшеничка захохотал добродушно и громко, как смеется хороший человек, который своей судьбой доволен и другим желает добра.

Маргарита молчала. Примолк и Пшеничка, рассчитывая, что ему выгоднее переждать, что собеседница его сама должна вернуться к их главному разговору. А Маргариту ела бесцельная досада, и так ей было неудобно на душе, что она решила вдруг не давать теперь Пшеничке ни за что окончательного ответа.

«Ну, сорвется, так и наплевать, – думала она. – А так я не могу. Вот не могу и все. Подумаешь, сокровище! Может, еще и не сорвется».

Они молчали минуты две-три. Вася ждал продолжения разговора, но продолжения не было, и он соскучился. Тогда он подумал, что все уже кончилось, и потихоньку вылез из засады. Он не побежал, а степенным шагом направился к дому, припоминая и повторяя те немногие слова, которые – услышал, и стараясь вывести из них какое-нибудь осмыслен-

ное заключение.

Издали он видел, что доктор и Маргарита пошли вниз по кипарисной аллее и, кажется, опять говорили; но он уже не пошел за ними. Ему как-то стало скучно.

Переходя длинный двор, он снова увидел Катерину, которая чистила генеральский пиджак под миндальным деревом. Вася хотел миновать ее молча, но Катерина сама окликнула его довольно ласково:

– Что не веселы, голову повесили? Устали, видно, шалить-то? В парке гуляли?

Васино обожание к генералу почему-то за эти полчаса побледнело, и он теперь не очень опасался, что Катерина на него пожалуется. Но у него был тоже страх и к самой Катерине, безотносительный, – хотя он отлично понимал, что она, помимо жалоб, никакого зла ему причинить не может. Он боялся ее острого лица с тонкими, бледно-лиловыми губами, которые она постоянно облизывала. Боялся вялых, худых щек и вечной черной кружевной косынки, крепко подвязанной под подбородком. И потому он тотчас же остановился и предупредительно сказал:

– Да, в парке был.

– Что ж, слышали, что слушать хотели? Аль прозевали?

Так как Вася теперь меньше опасался, что Катерина нажалуется, и не хотел ее задабривать, то он, пожалуй, и ничего бы ей не сказал о слышанном разговоре, тем более и не понимал его особенно; но она спрашивала, да еще усомнилась,

сумел ли он подслушать как следует. И он сказал:

– Ничего особенного. Слышал, что нужно.

– Должно быть, не очень слышали. Поймали вас в ку-
стах-то. То и головку повесили.

– И никто меня не ловил. Отлично слышал, как доктор го-
ворил Маргарите: я, говорит, уверен, что они счастливы бу-
дут, генералу, говорит, должно льстить искреннее чувство,
а Варвара, говорит, Ниловна, его искренно любит; генерал,
говорит, ребенок, и она тоже. А Маргарита, со своей мане-
рой, так: вы в этом уверены? И, наверно, глаза прищурила.
Я не видал! О дяде ничего не говорили. И никакого секрета
не было. Что ж? Я не отрицаю. Генерала можно любить. Я
его тоже люблю. Это очень обыкновенно.

Вася разошелся и все рассуждал. Катерина оставила пи-
джак, посмотрела и рассмеялась, показав маленькие желтые
зубы. Вокруг глаз у нее собралось множество тоненьких и
длинных морщинок.

– Так и сказал, счастливы будут? – перебила Катерина.

– Так и сказал. А что? – спросил Вася в смутном беспок-
ойстве. Ему сделалось вдруг неловко и досадно, что он го-
ворит с Катериной.

– Это значит – думают, вашей барышне – подлечочку же-
нишок – тэк-с, – сказала Катерина равнодушно и принялась
складывать пиджак. – А вы болтайте побольше, то и хоро-
шо, – прибавила она и ушла, даже не обернувшись.

Вася остался в еще большей задумчивости. Жених! Они

думают, что Вава выйдет замуж за генерала. Ну что ж! Это, в сущности, было решительно все равно и не казалось важным. Впрочем, слова Катерины о том, что не следует болтать, его немного испугали, и ему не хотелось говорить дяде о разговоре в саду. Пусть они себе там как хотят. И к генералу он слегка охладел, хотя понимал, что Вава его любит.

Он вообще во всем Ваву гораздо больше понимал, чем Ньюру или Маргариту.

Дядя пил чай в столовой. У него уже немного прошло любопытство, и он спросил Васю спокойнее:

– Что ж, говорил Пшеничка что-нибудь о моем здоровье?

Вася не умел лгать и обрадовался, что ему можно не рассказывать дяде про это смутное дело.

– Нет, дядя, ничего не говорили. Они все про другое. Ни одного слова про тебя не говорили.

– А! – протянул равнодушно Андрей Нилыч. И прибавил, обращаясь к идущей няне: – Убирайте самовар.

А Вася тихонько присел к роялю. У него были маленькие руки с узловатыми, трясущимися пальцами. Но он находил ими, неумело их ставя, верные и сложные аккорды. Слабым, тонким голосом, точно про себя, но с неуловимыми оттенками и переливами, постоянно подбирая на клавишах удивительную гармонию, он запел:

Помощник и Покровитель
Бысть мне во спасение...

Андрей Нилыч послушал и вышел на балкон. Он не любил тягучих церковных песен. А Вася за роялем, уже тихонько, точно вздыхая, сводил ноту на нет, как он умел, на нежном, покорно печальном:

А-ми-нь...

VI

Генералу нужно было съездить в Ливадию по какому-то делу, к знакомому садоводу, за розовыми семенами. Ливадия по шоссе считалась в двух верстах, только до шоссе дорога была хоть и не длинная, но крутая и неудобная. Случилось так, что с генералом поехала и Вава – «прокатиться». Последнее время они постоянно были вместе, и даже когда вечером генерал приходил играть в шахматы с Андреем Нилычем – Вава усаживалась неподалеку с какой-нибудь работой. Гитан лежал у нее на подоле, изредка поднимая голову, чтобы удостовериться, тут ли его барин.

Генерал долго думал над каждым ходом, тяжело дышал, не любил проигрывать, неизменно огорчаясь, и когда делал шах, говорил холодно: «Reine!» или «Roi!»² Выиграв, он делался весел и шутлив.

Теперь Вава и генерал возвращались из Ливадии. Становилось свежее и серее, солнце уже закатилось. Экипаж ехал по шоссе, не быстро, потому что генерал боялся скорой езды. Он был в хорошем настроении, потому что достал тех семян, которых хотел. Сначала ему не понравилась шляпка Вавы, черная с желтыми цветами, но потом он привык, и ему даже стало казаться, что она к ней идет. Вава смотрела на

² «Ферзь!», «Король!» (*фр.*).

него сбоку, видела его красивый профиль и завитки волос на лбу. Она подумала, что у него упрямое и властное выражение лица и что только люди с твердым характером настоящие люди. Он был изящен, умен, он был все; и ей захотелось ему без конца покоряться.

Справа светлело море, длинное и очень бледное, похожее на воздух без ветра. Оно казалось очень мелким, потому что на нем лежали извилистые и неподвижные тени, как бы от выступающего дна. От изгородей тянуло запахом осыпающихся роз. На скалах налево росли большие темные деревья – граб и дуб. Вдали иногда, на поворотах, блестела белая Ялта. Воздух был густой и стоячий.

– Нет, Константин Павлович, вы не знаете, – говорила Вава. – Я так рада, – так довольна, что побывала с вами в Ливадии. Там удивительно! Вы часто туда ездите? О, берите меня всегда с собой! Да, обещаете?

– Вот какая вы восторженная, – сказал, улыбаясь, Константин Павлович. – Я рад, если вам доставила удовольствие прогулка. И позвольте поблагодарить вас за честь, которую вы сделали мне, согласившись поехать со мной. Позвольте поцеловать вашу ручку. Как было бы скучно теперь мне возвращаться одному!

– Правда? Правда, скучно? Я вам даю какое-нибудь веселье? Скажите? Я всегда, я все готова сделать, если только вам со мною не скучно!

Она сияющими от восторга глазами заглядывала ему в ли-

цо. Серые сумерки стирали ее черты. Светлел только узкий овал и большие счастливые карие глаза.

– Вы милая, славная, – сказал Константин Павлович дрогнувшим голосом и, взяв ее руку, маленькую и красивую, в перчатке, осторожно и нежно поцеловал.

Ему показалось, что все это уж было, так же мягко колебались рессоры, так же благоухал сонный воздух, маленькая рука дрожала в его руке и пара блестящих карих глаз глядела на него влюбленным взором. Потом ему показалось, что это именно то и есть, что было, то самое, а всего того, что было после длинного, незаметного времени, действительно не было. Тихая теплота прилила к сердцу; ему стало радостно, гордо и бодро.

Он еще раз пожал тонкие пальчики и осторожно выпустил их.

– Вы веселая, живая, – сказал он негромко. – С вами двойной жизнью живешь. Эта энергия, эта бодрость духа... нам, людям века, при нашей умственной сосредоточенности, порою особенно нужна... Ею обладает женщина... И только женщина умеет истинно помочь... Посмотрите, дорогая, как хорошо? Вон первая звезда, большая, над морским горизонтом... знаете, как она называется?

Вава не знала. Она была только счастлива. Знакомое, часто испытанное, но всегда кажущееся первым и единственным чувство влюбленности наполняло ее душу. Вот оно, прекрасное, чего она ждала так давно. И с любовью смеши-

валось наивное тщеславие. Ей казалось, что все должны завидовать ей, потому что она генеральша, богата и любима таким изумительным человеком. Она испугалась за свое счастье, но потом сказала себе, что все непременно сбудется и не может сбыться. «А то я умру», – подумала она совсем искренно.

Они ехали молча. Все темнее и лучше становилось. Генерал и Вава были очень молоды, потому что у них было самое маленькое прошлое. Жизнь отошла и стала поодаль.

Когда во тьме стали спускаться вниз, по дурной дороге, – генерал подумал, что рессоры все-таки плохи; он почувствовал свои больные ноги. Но Вава осторожно поправила плед, и ему стало лучше. Кое-как доехали. На крыльцо вышла со свечой Катерина. Генерал взглянул на ее сухое лицо и сжатые губы в желтом пламени свечи – и ему показалось, что сразу кости его отяжелели, и он трудно вылез из коляски. Они простились с Вавой молча. Она отказалась от чаю и ушла спать.

VII

Няня Кузьминишна осторожно вошла в комнату, озаренную лампадкой. Она не хотела тревожить Ваву, которая давно легла.

Но когда няня помолилась Богу и, тихонько кряхтя, начала укладываться, Вава повернулась и вздохнула.

– Спи со Христом, – сказала няня.

Но Вава опять вздохнула и немного погодя произнесла:

– Я не могу спать, няня.

В голосе ее не было никакого сна.

– Что ты, матушка? Нездорова, что ли?

– Нет, я здорова. Ты послушай, – сказала она вдруг, совсем громко и села на постели. – Я тебе, так и быть, скажу. Я его безумно люблю.

– Что? Кого еще? Господи, Царь Небесный? В кого опять влюбилась? Кажись бы, не в кого.

– Его, няня, люблю. Константина Павловича, – прибавила она шепотом.

Няня плюнула.

– Да ты лоб-то перекрести. Винограду, что ли, обкушалась? Ему саван шить, а не любить его. Из него песок сыплется. Ты что? Ты у нас разумом не вышла, да зато красавица. На сколько годов-то ты его моложе?

– Что ж, няня? Любовь не спрашивает о годах. Это совсем

все равно. Он чудный. Красивый, изящный, умный. Я никогда не думала, старый он или молодой. И он меня любит, я чувствую, что любит.

– Уж и любит, – усомнилась няня.

– Честное слово. Няня, вот ты сердишься, я ты подумай. Я буду генеральша, он меня в высшее общество введет, потом за границу поедем... И такой, такой, как он! С его характером, с его умом! Ой, я задохнусь от счастья.

Няня молча встала и зажгла лампу. Потом аккуратно поправила поплавок у лампадки и, перекрестившись на образ, медленно подошла к Вавиной постели.

– Толком говори, – сказала она сурово. – Что он тебе предложение, что ли, сделал? Как было?

Вава начала рассказывать свою поездку в Ливадию. Говорила поспешно, несвязно и повторяла, что любит и что непременно будет генеральшей.

– Больше-то ничего? – спросила опять няня.

– А что же? Разве не ясно, что он думает... что хотел намекнуть... что он...

Она вдруг испугалась.

– Вот как я рассуждаю, милая моя, – начала няня. – Этот ты вздор из головы лучше выкинь. Ему не жениться. Что ты там влюблена в него – это пустое; ты и сама не знаешь, его ли, старого, любишь, либо генеральшей хочешь быть. Все у тебя вместе. Да пусть бы, коли бы так сразу вышло, а только не выйдет.хлопоты одне да срам наживать. У него, вон,

сыновья большие. Тоже им не лестно. Приедут, да вступятся – куда тягаться? Он же старик слабый – старик уж всегда слаб. Впутают тебя, скажут невесть что. Верно тебе говорю – брось. Стыдно. А думаешь, Катерина эта? Она, небось, тоже им по-своему вертит. Ох, дела!

– Няня, что ты? – в ужасе вскрикнула Вава. – Зачем ты меня пугаешь? Никто у меня его не отнимет, если я его люблю! И генеральшей буду! Я никогда так не любила!

– Э, матушка! Такие ли были! И почище этого на твою красоту, бывало, зарились! И тоже «люблю, люблю»! А потом, глядишь, – и не надо. Делишки-то врозь.

Это было уж очень давно, и Вава тех едва помнила. Но она сказала:

– Ах, няня, что вспоминать! Ну, были тряпки, не люди, а какие-то так; и мил сейчас противен делается, если по моей дудке пляшет. А этот настоящий.

– Убила бобра. А только погоди, что еще Катерина скажет. И поверь моему слову – ничему не быть.

Вава всплеснула руками и заплакала. Сразу исчезла радость, кругом делалось темно, и ей стало невыносимо жаль себя. Она поверила, что ничего не будет, что опять потянется прежняя жизнь и надо опять надеяться на новое, а новое неизвестно когда начнется.

«Нет, я лучше умру», – опять подумала она, и умереть ей показалось неважно и мало перед таким великим жизненным горем.

Няня, не утешая, смотрела на свою любимицу. Очень ей это не нравилось.

– Няня, послушай, – заговорила Вава, поднимая от подушки заплаканное лицо. Оно было некрасиво, измято, волосы растрепались. Углы увядших губ горько и капризно опустились. – Няня, ты вот осуждаешь, а ты подумай. Разве я виновата? Ведь какая моя жизнь? И уж как это долго тянется? У сестры жила, у брата живу, – не говорят, а думают: чего замуж не выходит? Чего к своему месту нейдет? Все, ей-Богу, это думают, только не говорят. Хоть бы чулки меня научили вязать, платья шить, – ну бы и знала, что живу, чтоб платья шить. А то все к одному шло, я для того жила, чтоб замуж выйти. Да я бы вышла, няня... Да те, прежние-то... гадкие оказывались, не годные... а потом и не было. Я разве не готова любить? Вот встретился настоящий человек, и богатый, и умный, и нравится мне... а вот нельзя... Почему же, няня? Нет, я буду бороться! Это вздор, это не может быть! Хочу, и случится так, как хочу! Умру – а будет, вот как хочу!

– Не понимаешь, что и говоришь, – сердито возразила няня. – Умру, экое слово! Умирать тоже из-за такого вздора. Умереть-то легко.

– Очень легко. Разве не умирают от любви? Если жизнь обманывает – сердце разрывается. И пусть смерть! Я всегда боялась смерти – но и жить, если его не будет, не хочу! Умру – с его именем!.. Я его очень люблю, – прибавила она вдруг без напыщенности, тихо и просто, и стала жалкая, как ребен-

нок. Она хваталась за свои мечтанья и плакала.

– У всякого свое, – сказала няня жестко. – Делай, как знаешь. Рай себе какой придумала, за мешок с костями замуж. Кому что любо. Да он еще тебе и руки не предлагал, еще посмотрим, что будет. Мое дело сторона, я тебе указывать не стану, а только пустое затеяно. Уж хоть не болтай ты на все стороны, скрывайся ты хоть по малости!

– Что я, няня, не человек? – всхлипывая, говорила Вава. – Ты моей жизни понять не хочешь! Ну, не выйду замуж – опять на меня с теми же мыслями глядеть станут, опять у брата жить, опять ждать... Разве есть на свете кто-нибудь, кто бы меня любил? Ты вот разве одна... Нюра любит меня? Или хоть Андрюша? А я всех люблю... И не могу так... Не могу... Умру из-за этого...

– Заладила... – заворчала няня.

Она что-то досадливо и ненужно прибирала на столе. Вава устала спорить и горько и бесконечно всхлипывала, уткнувшись в подушки. Слезы давали ей облегчение и нагоняли легкий и сладкий сон, прозрачный, как дремота.

VIII

Приезд Радунцева, несомненно, внес оживление в замкнутую жизнь Сайменовых. У него были знакомые в Ялте, которые его посещали и которых он неизменно представлял Андрею Нилычу и барышням. Правда, барышням они не очень нравились, потому что, как на подбор, оказывались весьма пожилыми и скучными. Были две приятельницы, сестры-вдовы, живущие вместе. Одна из них была баронесса и обожала собачонок. Генерала они обе знали лет двадцать, вечно с ним спорили, он их поддразнивал, но очень уважал и ценил. Каждая была немного старше Вавы, – но Вава с ними приняла тон задорной институтки; они говорили с ней покровительственно и недружелюбно. Вава к ним, особенно к старшей, баронессе, втайне ревновала.

Как-то в начале августа приятельницы генерала пригласили всех принять участие в пикнике. К ним приехала еще одна дама, подруга из Петербурга, и они решили повести ее на водопад в большой компании. Вообще Ялта становилась к осени многолюднее и шумнее.

Андрей Нилыч, конечно, отказался. Нюра и Маргарита тоже ехать не хотели. Но генерал пришел сам, так упрашивал их, так мило и шутливо умолял, что нельзя было не согласиться! Решили приехать после, на полчаса, прямо туда, а чтоб не ехать одним, придумали взять Васю.

Вася не очень радовался. Он последнее время особенно пристрастился к духовному пению, не пропускал ни одной службы в ближней церкви и завел себе там приятеля-дьячка, который знал все гласы и даже слыхивал про Бортнянско-го. Бортнянского же Вася обожал превыше всех и оставался верным своей страсти, несмотря ни на какие случайные увлечения.

Накануне пикника, назначенного на понедельник, Вася сидел вечером на перилах балкона, мурлыкая про себя какой-то восьмой глас. Генерал только что был и ушел. Маргарита и Нюра сидели рядом на ступеньках крыльца. Вавы не было.

Нюра смотрела на Маргариту. Ее смуглое, увядшее личико было бы красиво под горячими лучами низкого солнца, если б не вечное теперь выражение брезгливости и досады, которое портило ее маленький, красивый рот. Нюра усмехнулась.

– Что это вы, Маргарита, с Вавой почти не разговариваете? Поссорились, что ли?

– Я? С чего вы взяли? Из-за чего нам ссориться? Да и могу ли я с ней ссориться?

– Однако вы на нее дуетесь, – настаивала Нюра. – Знаете, мне иногда преинтересно наблюдать, какие вещи у нас происходят. Так, знаете, безмолвно наблюдать...

– Если вы говорите про эту красивую историю Варвары Ниловны, то я не понимаю... На вашем месте, – ведь она вам

тетка, – я бы приняла какие-нибудь меры... Это такое по-смешнице... Андрей Нилыч просто слеп... Возмутительно...

Нюра спокойно пожала плечами.

– Мне все равно, – сказала она. – Забавно, разве посмотреть, что в конце концов выйдет. А вы возмущены – знаете почему? Вам завидно, а вдруг Вава будет генеральшей, дачку эту получит и всякое такое... Идеалы-то у вас жизненные очень схожие... Вы и беситесь...

Маргарита вспыхнула.

– Что же, вы думаете, что я стала бы кокетничать с. этим генералом и пошла бы за него замуж? Скажите, скажите, докажите вашу проницательность.

– Нет, – произнесла Нюра, колеблясь. – Может, и не пошли бы. А все-таки завидуете. Вы сами лучше устройтесь. Всякий сам себя должен устроить, будущее от самого себя зависит.

– Вы что же, в сельские учительницы пойдете? – насмешливо проговорила Маргарита.

– Во всяком случае у меня идеал – небогатый жених, у меня есть святое, честное.

В голосе Нюры была детская важность. И лицо у нее приняло совсем детское выражение.

Вася услышал последние слова, прекратил мурлыканье и произнес:

– А как же ты, Нюра, давеча мне говорила, что святых вообще нет? А теперь уж, значит, есть?

– Ты ничего не понимаешь, – досадливо ответила Нюра. – Не с тобой говорят.

– Напрасно ты так о себе много воображаешь, Нюра, – укоризненно сказал Вася. – Сейчас сердиться, не понимаю! Отлично понимаю. Какие тут секреты? Вообще нет никаких секретов. Пряясно все. И ты, и Маргарита, и Вава... И Пшеничка, – прибавил он, подумав.

Нюра захохотала, а Маргарита смутилась.

– Вот так мудрец! – смеялась Нюра. – Ну скажи, скажи, Васенька, что ж тебе ясно? Что я влюблена в генерала и хочу за него замуж? Это, что ли?

Вечер был красный и желтый. Солнце спустилось ниже гор, наполняя узкую долину густым, мглисто-янтарным дымом. Лиловые, затененные хребты гор были неясны, но приветны. Все опускалось в тишину. Знойный, ветреной день умирал кротко, светло и благоговейно. Где-то очень далеко заиграли зорю. Простые, робкие звуки, онеженные отдалением, не тревожили успокоенного вечера. Они тоже были словно подернуты предзакатным дымком и негреющим светом.

Варвара Ниловна тихонько вошла из комнаты на балкон и остановилась у перил, щуря вдаль близорукие глаза. Нюра перестала смеяться. Маргарите захотелось уйти, но лень было подняться.

Вася помолчал, послушал зорю, а когда она кончилась и кончились чуть слышные ее отзвуки по горам, серьезно про-

изнес:

– Это ты, Нюра, ничего не понимаешь. Сейчас видно. Почему это по-твоему самое важное, кто за кого замуж выйдет? Пусть себе.

– Батюшки, проповедник, святой отец! – опять засмеялась Нюра. – Недаром с пономарем сдружился! Ну говори, говори, что важно? Спасение души?

– Нет, постой, – сказал Вася, смущаясь. – Я совсем не про то. Я вот сегодня в церкви действительно слушал проповедь. Отец Марк говорил. Вот так говорил! Очень хорошо! Только очень трудно понять, о чем. Я тоже, когда вырасту, буду проповеди говорить. Я уже думал. Только я буду понятное. Вот о концах, например.

– О каких концах? Я тебя не о глупостях спрашивала, ты же хвастался, что так все о нас великолепно понимаешь, вот и сказал бы, что понимаешь. А он на чушь какую-то съехал. Вася обиделся, но сдержался и холодно проговорил:

– Нисколько я не съехал. Это тоже относится к вам. И всегда буду утверждать, что мне ясно.

Маргарита подумала, что если Вася случайно узнал какие-нибудь ее дела с Пшеничкой, то гораздо лучше иметь уверенность, что именно он пронюхал. Еще болтать будет сглупу, а тут и разубедить его можно. И она сказала:

– Уж не скрывайте, Вася, говорите, какие у вас мысли. Наверно, вы во все проникли, вы у нас хитрый.

Нюра подумала, что, пожалуй, Вася начнет что-нибудь

про генерала и Ваву и Ваве будет полезно послушать. Она все так же безмолвно стояла у перил и смотрела вперед.

– Да я что, – начал Вася, оробев, видя, что от него ждут угадывания секретов, которых он не знает. – Вы не думайте, Маргарита. Я просто так хотел сказать, про то, что видно. Вот мне такие мысли приходили: и вы, и Вава, и Нюра – разные и как будто разного для себя хотите, а в сущности, одинакового. Вы вот замуж, положим, за графа; Вава – за границу с генералом, Нюра – чтоб ей студенты книжки читали, уж... я не знаю. И вот все хлопчете, и мучаетесь, и не последнего хотите, а такие у вас желания – с продолжениями. Это, по-моему, не стоит. Уж чего-нибудь такого желать, чтоб дальше и не видно было. Получите вы свое, да еще надо, чтоб оно тянулось, да потом новое выдумывать, чтоб опять желать. Я это не умею сказать, а только мне кажется, что все вы об одном думаете, и все на одном месте. А по-моему, надо концы выдумывать, потому что все для концов. Например, взять стих церковный, литургийный или какой. Ведется, ведется, далеко еще – а уж чувствуется, как он в конце перельется, истонится и замрет, и весь он был только для кончика. Ох, люблю я эти кончики! И во всяком стихе так, если он хороший. Начну стих, ну с какой хочешь ноты, – и уж дрожу, знаю, что конец будет, и желаю его, и люблю. Вот если б во всем такие концы знать! А вы – замуж. Либо Пшеничка-практика там у него! Я ему тогда вот тоже о концах говорил. Так он смеялся.

– Напрасно, – сказала Нюра. – Это даже не смешно, просто пустяки. Какие там концы! Ты бы, Вася, попроще смотрел на вещи. Я думала, ты путное скажешь.

Пренебрежительное равнодушие Нюры оскорбило Васю до слез. Он забыл свою робость и мягкость, вскочил и прерывающимся голосом крикнул:

– А ты... а ты... чем воображать... подумала бы... Никогда не думаешь! Мысли ползучие! Сама ползучая... Других не обижай!.. Да.

Нюра сдвинула брови и встала. Васе плохо пришлось бы, но в эту минуту Вава двинулась, охватила Васю рукой и с упреком сказала:

– Вася, как не стыдно? Разве можно так кричать? Каждый как хочет, так и думает. Ну, не сердись на него, Нюра. Он ведь всегда чудит.

Вава не хотела, чтобы вышла ссора. Еще, пожалуй, из-за Васи завтра поездка расстроится. Маргарита была рада, что Вася ничего не сболтнул про Пшеничку, и сказала примирительно:

– Подумаешь, есть из-за чего спорить! Вам, Вася нравятся стихари, а Нюра мечтает о пользе народа. И отлично.

Нюра спохватилась, что она сердится на мальчика, которому четырнадцать лет, а по развитию, пожалуй, чуть не семь. Себя она давно считала взрослой. Она не сказала ни слова и молча ушла. Вася оробел и прижался к Ваве. День догорел. Синие ирисы, последние на грядке перед балконом,

казались черными. В небесах загорались большие горячие звезды.

– За что вы меня ненавидите, – сказала вдруг Вава тихим, дрожащим голосом, неожиданно для себя. – Я ведь замечаю, что вы со мной говорить не хотите. Это очень тяжело, жить в одном доме. Скажите, что вы имеете против меня?

– Я? – с притворным равнодушием произнесла Маргарита. – Вы мне ровно ничего не сделали. Откуда у вас эти фантазии?

– Нет, нет, ведь я чувствую. Лучше скажите, чем быть врагом.

– Я вам не враг, Варвара Ниловна, да и не друг. Если же вы непременно хотите объяснения – извольте. Я избегаю отношений с вами, потому что вы мне не нравитесь, не нравится мне, как вы себя держите, кажется неловким, комичным. Мое дело сторона. Вот я и сторонюсь.

– Сторона? – воскликнула вдруг Вава запальчиво. – Нет, я знаю, вы бы мне гадость всякую сделали, если б могли! Я знаю, что вам завидно! О чем вы с Катериной по часам на крыльце говорите? Вы рады бы я не знаю, что мне устроить! И зачем? К чему?

– Да вы, кажется, с ума сошли! – холодно остановила ее Маргарита. – Опомнитесь, пожалуйста!

– Мне нечего опоминаться. Вы мой настоящий враг! Только вы ничего не сделаете, ничего! Посмотрим, ваша ли возьмет. Еще посмеемся. Я...

Она вся дрожала, хотела продолжать, но не договорила, заплакала и ушла.

Маргарита побледнела в темноте от злобы. И от злобы забыла все, даже себя. Самое важное для нее было теперь так или иначе помешать Ваве. Она быстро сошла со ступенек и скрылась в темноте. Она любила ходить так, когда никто не видит ее лица. Мысли были у нее острее в темноте.

Вася остался один на балконе, забытый. Ему стало страшно, но он посмотрел на звезды и успокоился немного. Звезды мигали ему дружески-насмешливо сквозь невидный, ласковый воздух. Вася уже не сердился ни на Ньюру, ни на других. Только делалось скучно, когда он думал о них, потому что им скучно. Он присел на крылечко, подпер щеку ладонью и затянул едва слышно, покачиваясь в такт, напевом Бортнянского:

Всякое ныне житейское

Отложим попечение...

Попечение...

Большой зеленый метеор скользнул по небу, разгораясь, рассыпался искрами и плавно исчез за горной вершиной. Вася широко открытыми глазами следил за ним, а когда он упал, то долго еще всматривался в небо, стараясь уловить последние слабые блески его небесного пути.

IX

Вава упрекала себя всю ночь, плакала, сердилась и была уверена, что поездка не состоится, что Маргарита откажется, за ней Нюра, – и все пойдет прахом. Однако, к удивлению ее, о пикнике говорили, как о деле решенном, и Маргарита не возражала. Было душно, по небу ходили редкие, тяжелые тучи, но дождя не предвиделось. Генерал уехал с утра, он должен был отправиться со своими приятельницами.

Нюре стало беспричинно весело и вдруг захотелось ехать на пикник. Она смеялась и уверяла, что если сложить лета всех древних стариков и старух, которые будут на пикнике, то, наверно, перевалит за тысячу. Просила у Андрея Нилыча дымчатые очки, уверяя, что ей стыдно иметь шестнадцать лет. Несмотря на протесты Маргариты, которая была в белом, нарядилась в темное платье; ее не досадовало даже то, что надо было пешком идти вниз и в городе брать экипаж. К ее полной крупной фигуре не шла резвость, но лицо сделалось совсем ребяческое и миловидное.

К двум часам были готовы. Вася надел новую блузу и тоже чрезвычайно радовался поездке. Он совершенно забыл обиды. Его мысли были поглощены вчерашним метеором. Он все вспоминал его зеленый путь, его тихие, плавные искры, когда он рассыпался у самого горного хребта, весь его мягкий и сверкающий полет и падение. Вася целое утро рас-

спрашивал о метеорах у Андрея Нилыча, которому только страшно надоел. Теперь Вася втайне мечтал набраться храбрости и расспросить генерала, который был когда-то профессором астрономии.

Нюра зорко оглядела туалет Варвары Ниловны. Но она тревожилась напрасно: Вава была одета скромно, в маленькой дамской шляпке, которая ее молодила, в темно-лиловом платье. Только что собрались выйти – как явился Пшеничка. Он тоже был приглашен и спешил, чтобы предложить отправиться вместе. Узнав, что Андрей Нилыч не едет, а едут одни барышни, он смутился и задумался: ловко ли? Андрей Нилыч тоже стал сомневаться; но Нюра засмеялась и решила, что раз уж доктор пришел, то смешно ему идти вниз одному и ехать рядом, но отдельно.

– Да и места нет, – колебался Пшеничка, почесывая затылок. – Ведь еще Вася...

– Я на козлы, – решил Вася. – Я всегда на козлах. С высокого мне лучше видно. Поедемте с нами, Фортунат Модестович! Я вот еще что хотел вас спросить: метеоры, это тела?

– Ну, теперь к нам пристал, – с отчаянием воскликнула Нюра. – Целый день сегодня с одним. Пойдемте, ради Бога, если идти! Ведь уж половина третьего.

Пшеничке все были рады, кроме Маргариты. Один вид его белобрысых волос и добродушно-довольного лица возбуждал в ней глухую тоску. Она еще не дала ему решительного ответа, просила сохранить пока все в тайне, но знала,

что он скоро потребует от нее решительного ответа. И чем невозможней ей казалось его упустить, тем больше она его ненавидела.

Извозчик попался отличный. Повез их не по обычной дороге на водопад, через Ливадию, а по другой дороге-полувысохшей речке Учань-Су. Вася сидел на козлах, смотрел на все применительно к метеору и все заводил один стих. Когда поехали шагом, Вава прислушалась.

...И даже нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания,
Но жизнь бесконечная...

– Вася! Ради Бога! Что это ты за панихиду завел? Ведь это противно, – наконец воскликнула Нюра.

Даже Пшеничка согласился, что противно.

Вася покорно замолк. Но почему-то лишь только начинал думать о метеоре, вспоминать, как он плавно рассыпался и сгорел, он незаметно для себя начинал опять потихоньку:

...и печали, ни воздыхания...

Наконец приехали. Около соснового леса, на шоссе, откуда к водопаду вели пешеходные тропинки, уже стояло много экипажей. Пшеничка ловко высадил дам, спросил у кучеров, где и когда приехала большая компания, – и все отправились вглубь. Солнце то пряталось за набегаящими тяжелыми тучами, то пронизывало хвойный лес, который стано-

вился вдруг желтым, горячим и прозрачным. Нога скользила, как на льду, на широкой тропе, усыпанной иглами. Вава шла вперед. В конце этой нижней тропы, недалеко от водопада, расположилось общество. Там стоял довольно большой деревянный стол, и это было отлично, потому что иначе пришлось бы пить чай на земле. Генерал вряд ли мог сесть на землю со своими больными ногами.

Теперь он устроился в складном кресле, опираясь на трость. Увидев подходящих барышень, он вскочил им навстречу, как молоденький.

— А, вот они! Милости просим! Пожалуйте! Что так поздно?

Баронесса играла роль хозяйки, разливала чай. У нее были гладкие черные волосы и сухой, согнутый вниз нос. Она поднялась навстречу Ваве с особенно приветливой улыбкой. Собачонка, лежавшая у нее на подоле, визгнула и заворчала.

Общество было не очень многочисленное, но разнообразное.

Дама из Петербурга оказалась простой и милой, очень пожилой. С ней был племянник, студент с толстыми губами, рыжеватым пухом на подбородке, некрасивый, но и не неприятный, с быстрыми серыми глазами. Он приехал в Крым не с теткой, а отдельно и вообще держал себя очень независимо, хотя и прилично. Вася было восхитился его кителем, возымел намерение с ним заговорить, но вдруг остыл, убедаясь, что студент его искренно не замечает. Тучный во-

енный, потом какой-то суховатый и рыжий дипломат с молодой некрасивой женой, несколько хорошо одетых пожилых дам – все были, видимо, отлично знакомы друг с другом, и вновь приехавшим стало неловко. Но любезность генерала выручила. Он смеялся и шутил, мило ухаживал за Вавой, которая расцветала под общим вниманием. Все, даже баронесса, были к ней усиленно внимательны, и Ваве казалось, что все ее любят и что, должно быть, она очень хорошая. Она разошлась, стала болтать и смеяться – даже чуть-чуть громче, нежели следовало. Но с ней по-прежнему все были любезны, а генерал явно ухаживал, не забывая, впрочем, и Нюру, которую посадил рядом с Володей. Володей звали студента все решительно, и он не обижался, точно снисходя к старой компании.

Чего боялась Маргарита, то и случилось: Пшеничка не отходил от нее и ухаживал так явно и смело, точно уже был женихом. Суровые и холодные взгляды Маргариты на него нисколько не действовали. Он знал, что, в конце концов, она ему не откажет, а что она думает теперь, ему было решительно все равно.

– Здесь так хорошо, что даже к верхнему уступу водопада не хочется идти, – сказала баронесса. – Да и надо признаться, неудачное мы время выбрали, дождей давно не было, водопад пересох...

– Едва журчит, – сказал Володя. – А я сюда приезжал раз – после бури. Очень занимательно. Да и теперь следовало бы

сходить наверх. Только там и интересно.

– Я не пойду, – сказала Вава, очищая персик.

Она знала, что генерал не полезет на гору. Компания разделилась. Баронесса, ее сестра, пожилые дамы, генерал, Вава остались внизу. Вася куда-то исчез – про него забыли. Маргарите тоже очень хотелось остаться, она надеялась, что Пшеничка уйдет с молодежью, как она внутренне назвала Ньюру и студента, которые мелькали уже на тропинке, извилисто поднимающейся по откосу горы между соснами. Но Пшеничка остался, сел с ней рядом, даже локти положил на стол, смотрел на нее в упор и называл «милая барышня». Баронесса покосилась на бесцеремонного ухаживателя, но тотчас же сделала вид, что ничего не замечает. Пшеничка был у них домашним врачом.

– Я все люблюсь вашими ресницами, дорогая Варвара Нилловна, – сказала маленькая, худенькая сестра баронессы, поглаживая собачонку, которая лежала у нее на коленях. – Они у вас удивительно длинные и черные. Это так красиво. N'est ce, Marie³, – обратилась она к приезжей барыне.

Вава вспыхнула от удовольствия. Давно уже никто не хвалил ее наружности. Но сквозь удовольствие она теперь чувствовала и смущение: какая-то неуловимая неискренность, неясное преувеличение было во внимании к ней, и ей порою становилось неловко и стыдно.

Маргарита этого не видела. Она только понимала, что все

³ Не так ли, Мария? (*фр.*)

внимание обращено на Ваву, что генерал показывает Ваву своим приятельницам, что они ее одобряют, и генерал рад. Она слушала длинную галантную речь генерала о красоте женских глаз, смотрела сбоку на его красивый старческий профиль, на всю его фигуру, старомодно-изящную, думала о том, как довольна теперь Вава, – и ее опять ела такая невыносимая злоба и зависть, что она даже Пшеничку забыла ненавидеть и уже не замечала его.

– Скажите, генерал, – пропела вдруг опять сестра баронессы. – Неужели вы и в нынешнем году нас так рано покинете? Вы ведь уехали в октябре?

– Не знаю, милейшая, Анна Львовна, не знаю... Какая осень... Раньше половины ноября не двинусь, нет... В октябре Коля хотел приехать... Да ведь неизвестно, как он... Может быть, раньше придет, а может быть, и вовсе не будет.

– Ах, Николай Константинович! Вот бы хорошо. Да ведь он только собирается.

– Нет, нынче, кажется, придет!

Вава обмерла. Ей вдруг вспомнились слова няни: «Дети взрослые, вступятся – где тягаться!» Сын придет, петербургский, военный. Бог знает какой! А если поймет, а если не захочет? Нет, все пропало.

Маргарита оживилась и даже улыбнулась. Это хорошо, что сын. Конечно, он не допустит обойти старика.

Вава услышала, что генерал прибавил:

– Да ведь он ненадолго, дня на четыре, на пять... Ему,

главное, в Гурзуфе надо зачем-то быть...

«Не поймет, не узнает, не успеет! – подумала Вава. – Три дня ничего, совсем ничего...»

Но Маргарита продолжала улыбаться. Пшеничка сочинял ей длинные неуклюжие комплименты, она не слушала.

Водопад за скалами шумел негромко, но утомительно. Солнце совсем спряталось. Становилось душнее. Из лесистого ущелья не было видно неба, но порою погромыхивал далекий, очень глухой гром.

– Мне кажется, будет гроза, – сказала Маргарита нервно и встала. – Надо бы отыскать Ньюру... Мы должны скоро ехать... Как вы думаете, Варвара Ниловна?

Баронесса тоже забеспокоилась. Два лакея стали собирать и укладывать посуду. Пшеничка предложил Маргарите отправиться на поиски «молодежи». Маргарита хотела опять отказаться, но согласилась, решив поговорить с Пшеничкой и опять отложить свой окончательный ответ. Они медленно пошли в гору.

Х

– Вы петербургский? – говорила Нюра, сидя наверху, у самой воды, на большом черном камне.

На этом выступе водопад шумел и клубился, и белая, острая пыль летела в лицо.

– Да, – сказал Володя Челищев.

Он сидел ниже, немного впереди, без фуражки и жмурил от брызг свои серые, выпуклые глаза.

– Университант?

Нюра редко слышала это слово, и оно ей нравилось.

– Да. Вы же видите. Я на естественном.

– А, естественник! Я уж думала, не на юридическом ли. В Петербурге преобладают юристы. И вообще в Петербурге, как говорят, нет настоящего студенчества. Нет горячего отношения к делу... Нет идеалов... Все карьеристы.

Володя прищурился сильнее и спросил, не устаивая возразить:

– Вы давно из Москвы?

– Почему вы меня об этом спрашиваете? – обидчиво и взволнованно произнесла Нюра. – И почему вы знаете, что я из Москвы?

– Москвичку в вас даже поговору узнать легко, а давно ли вы оттуда, я спросил потому, что меня удивило, неужели в Москве до сих пор судят и мыслят так, как чуть не тридцать

цать лет тому назад! Впрочем, вы так молоды... Вы, вероятно, только что окончили гимназию?..

– Да, в прошлом году, – волнуясь, проговорила Нюра. – Но я не знаю... почему вы так обижаете Москву? И, наконец, в Москве не все же москвичи – как вы их понимаете... Вы уже уверены, что я мыслю и сужу отстало, ведь вы еще моих убеждений не знаете, я с вами ни о чем не говорила... В последнем классе, в гимназии, у нас был свой кружок, мы знали очень многих студентов, собирались... Я уверяю вас, были интересные люди.

– О, я не сомневаюсь, – без всякой иронии сказал Челищев. – Извините, я не хотел никого обижать. Так, к слову пришлось; у нас как-то разговор был, что Москва и Петербург живут различной умственной жизнью и что момент общественного развития в Петербурге всегда другой, – следующий, если хотите, чем в Москве.

– Почему вы это думаете? Почему вы думаете, что хотя бы я раз москвичка, уже ничего не понимаю, чужда общественному интересу, не могу отдаться ему всей душой? Правда побеждает, правда открыта, известна...

– Я вас совсем мало знаю и ничего не хотел сказать обидного, – опять повторил Володя. – Я и этой мысли о москвичах не проводил, у меня нет определенного мнения.

Они помолчали. Водопад шумел, и белые брызги летели вверх.

– А вы здесь надолго поселяетесь? – сказал Челищев.

– Еще, верно, целый год проживем! Отец болен. Это ужасно, тут живого человека нет, книг нет! Я совсем иначе рисовала себе свою жизнь. У меня были такие планы... Да ведь наш кружок расстроился, я даже ни с кем не переписываюсь. Скажите, а в Петербурге все-таки есть какая-нибудь общность, собираются, вот так, молодежь?

– Видите ли, я вам могу говорить только про то, что знаю... Я немного занимаюсь литературой, бываю между журналистами, общение есть...

– Ах, литература, – перебила его Нюра. – Но ведь это новейшая литература, это ужасно! Декадентство... Мы избегали и читать, что идет вразрез со всем...

– Нет, какое декадентство! Об этом у нас уж больше не говорится, это старо... Да и прошло стороной. Нет, я о другом говорю. У нас более существенные интересы. Есть, конечно, различные мнения, как везде...

– Ах, скажите, что же говорят? Вы не думайте, мы в Москве всем этим очень серьезно занимались, у нас были партии, дело самообразования было очень подвинуто...

Челищев усмехнулся.

– Позвольте вас спросить определенно: ваш кружок был народнический?

– Да, – недоуменно и нерешительно проговорила Нюра. – А... какой же еще?

– Видите, это, конечно, мое личное мнение... Но я народничество считаю вещь тоже устарелой... Словом, я из пар-

тии, противной народничеству. И партия эта, надо сказать, теперь в Петербурге преобладающая.

Нюра смешалась.

– Позвольте... но... какая же партия? В чем же ее принципы? И... мне кажется, правда народничества – это нечто несомненное, это установленное, и если может быть борьба, то...

Она не нашла слов и умолкла, пристыженная и удивленная. Челищеву разговор казался неловким. Он боялся, что станет развивать барышню. Говорил он неохотно, осторожно – и совсем бы умолк, но девочка ему нравилась и даже начала нравиться ее восторженность, наивная, важная доверчивость и полная примитивность увлечений. Он взглянул на нее, всю в белых брызгах, с розовыми от смущения ушами. Ему всегда нравились такие крупные блондинки, очень молоденькие. «Может быть, она и не глупа, – подумал он добродушно. – Во всяком случае, почва хорошая. Отчего и не помочь человеку, не поговорить с ним, если он хочет говорить и знать».

Однако он произнес громко:

– Все эти вещи очень сложные, Надежда Андреевна. Согласитесь, как-то странно вести серьезные, требующие большой внимательности, разговоры здесь, под шум водопада, на пикнике тетюшек и дядюшек? Мы так мало знаем друг друга...

– Ах, это совсем и не нужно! Лишь бы чувствовалась се-

рьезность в человеке... вы вот, наверно думаете, что я слишком молода... Но уверяю вас, я уж давно не ребенок. Я всегда была со взрослыми, всегда все читала, жизнь рано столкнула меня с серьезными людьми, которые разбудили во мне такие запросы...

«Вон уж, запросы! – подумал Челищев. – Как это она все по-московски! А милая девочка, жаждущая... и хорошенькая».

– Нас ищут, – сказала Нюра с сожалением. – Надо идти. Вы приезжайте к нам, – прибавила она, – папа будет так рад! Знаете, для нас свежий человек это редкое счастье, я уж и так одичала. Извините, что я без церемоний.

Челищев поблагодарил. Нюра вдруг опять страшно смутилась, вспомнив, как Маргарита пророчила ей студента. Маргарита будет опять смеяться. Но и пусть! Разве это важно? Да и ей, Нюре, интересен этот студент сам по себе? Живешь в норе, поневоле рад свежему человеку, который расскажет, что на свете делается. О какой партии он говорил? Что это такое?

Нюра чувствовала себя возбужденной и деятельной, как, бывало, в Москве, возвращаясь от своей подруги Хваленцевой, у которой собиралось много студентов, старших гимназисток, всякой молодежи, и происходили разные чтения и споры.

Вася был где-то недалеко и вылез из-за камней совсем мокрый.

– Там ищут тебя, – сказал он Нюре. – Домой ехать.

Они втроем двинулись вниз.

Еще глуховатый, но уже довольно близкий гром раскатился вверху и замолк не сразу, ворча и переливаясь. Потемнело. Сосны зашумели, как море. Какая-то барыня в amazонке, сопровождаемая обыкновенным татаринком с галунами и глупыми глазами, вынырнула с боковой дорожки и поспешила вниз чуть не бегом. Вася, который боялся грозы, робко спросил студента:

– Ведь гром, это – электричество?

Тот поглядел на Васю молча и рассеянно и сказал:

– Да.

Внизу все уже были готовы. Дамы успели уехать до дождя, баронесса увезла генерала. Студент любезно подсадил Нюру в экипаж, – она хотела, но не посмела опять пригласить его к ним. Васю пришлось посадить в середину, когда пошел дождь. Коляска была без верха, а только с зонтиком, и белое платье Маргариты превратилось в тряпку. Пшеничка с беспокойством посмотрел на нее и сказал:

– Вы горячего напейтесь вечером.

– Я никогда не простуживаюсь, – холодно ответила Маргарита.

Вава смеялась. Нюра чувствовала ко всем нежность, даже к Пшеничке. Только Вася трепетал, жмурился от молний, жадно ждал грома и, несмотря на страх, все желал, чтобы гром был громче.

– Свят, свят, свят, – шептал он в ужасе и восхищении.

Горное эхо повторяло удары. Молнии были ослепительные, красноватого, медного цвета. И в грозовой полутьме они казались режущими, невозможными.

– Да мы не доедем, – смеялась Нюра. – Нас убьет.

– Если они не успели добраться, Константин Павлович простудится, – проговорила Вава серьезно и как бы про себя.

Нюре показалось это милым и трогательным, и она ласково сказала:

– Добрались, не бойся.

Пшеничка предложил было в городе заехать переждать дождь к нему, но предложил робко, не надеясь на согласие дам. И никто не согласился. Доехали до Ливадийской слободки, оттуда было близко пешком, хотя по очень грязной дороге. Дождь прошел. Еще бледное солнце пронизало рвущиеся тучи. Полная радуга протянулась по долине, сквозь нее лиловели, желтели, краснели дома и деревья. Обрывки туч, точно клочки ваты, лежали во впадинах гор.

– Вы с ума сошли! Промокли! Простудитесь, – кричал Андрей Нилыч с крыльца, увидя возвращающихся барышень.

– Ничего, папа! – весело крикнула Нюра. – Одна Маргарита промокла, да и ту Фортунат Модестович вылечит!

XI

У Пшенички была очень хорошенькая дача на одной из нагорных улиц Ялты. Он несколько лет тому назад, только что приобретая практику, купил большое, случайно продававшееся место и построил исподволь два дома, разделенных садом. В одном доме жил сам (больных он принимал в павильоне, где устроил кабинет), другой сдавал, с большим выбором, обыкновенно кому-нибудь из своих же больных. Теперь у него там жила дама лет тридцати, жена петербургского чиновника из средних, при ней пожилая тетка. Агния Николаевна хворала уже давно, в Крыму, впрочем, жила лишь два месяца. Случай ее, как говорил Пшеничка, был трудный.

В двенадцать часов по обыкновению Фортунат Модестович кончил утренний прием и пошел завтракать. Дети завтракали с ним, все до единого, и были уже в столовой, когда он вошел. Он поздоровался с ними весело, зорко посмотрел в лицо старшего мальчика, который вчера показался ему нездоровым. Дети были очень тихи, они боялись отца. Пшеничка, несмотря на свои вечные прибаутки и кажущуюся безалаберность, был аккуратен, строг и успел завести в доме удивительный порядок. Вышколенные дети ходили у него по струнке. Пшеничка был во всем скор, не знал нерешительности, никаких колебаний. Он наказывал ребенка, не задумы-

ваясь, – прощал его, когда нужно. Эта ясность поступков и мыслей очень помогала ему и в медицинской практике. Никто не видал, чтобы он колебался поставить диагноз, задумался над лечением.

– Чего тут? Дело очевидное, – говаривал он таким тоном, что всякому тоже казалось, что дело очевидное.

Когда ему понравилась Маргарита, он мигом сообразил все обстоятельства дела, не скрыл от себя, что Маргарита «барышня» прежде всего и что с ней будет много возни. Однако он не видел, почему должен отказать себе в удовольствии жениться на барышне, которая ему нравится, и немедленно на этом и остановился. Что ж, можно и повозиться. Отказа он, сообразив все, не ждал, а иначе бы сразу решил не свататься.

– Не ищи никогда, – говорил он, – а иди весело своей дорогой и смотри, не подходит ли тебе то, что попадается. Не подходит – шествуй себе спокойно мимо и не тужи. Дальше авось попадетсЯ.

В столовой было полутемно от спущенных маркиз. Дети ели смирно. За стулом младших стояла бонна. У старших девочек была гувернантка, но она не нравилась Фортунату Модестовичу, и он ее отпустил. За столом служила старая экономка-горничная, которая занималась хозяйством и каждый день сдавала счет барину, и лакей с глуповатым лицом. Пшеничке он нужен был во время приема.

– Лёля, Катя, – сказал Фортунат Модестович, наливая се-

бе красного вина. – Вы не забыли, что через неделю ехать?
Девочки вздрогнули и переглянулись.

– Нет, папа, – робко ответила старшая. – Мы знаем. Бабушка не едет за нами. Мы рады...

Девочки были определены в московский институт. Отвезти их должна была теща Пшенички, которая жила в Севастополе.

– Ну, рады вы или нет – это все равно. Учитесь хорошенько. Может быть, возьму на каникулы, а может быть, и нет.

Девочки не любили скучный дом, боялись отца. И им не казалось печальным уехать.

– А Гриша поедет к тете Кате? – спросила Лёля.

Пшеничка поморщился. Ему не очень хотелось отдавать старшего сына сестре. Но он так решил, делая предложение Маргарите. И подумал, что на год, на первый год, отдаст, а потом можно и опять взять.

– Да, Гриша поедет. Только не теперь, позднее. Завтрак продолжался в молчании.

Когда подали кофе, горничная сказала:

– За вами Агния Николаевна прислали.

– Скажи, что приду в половине второго, как всегда.

– Просили скорее. Дурно себя чувствуют.

– Скажи, что приду в половине второго.

Горничная вышла. Пшеничка спокойно закурил папиросу. Агния Николаевна каждый день присылала за ним так, и каждый день это была фальшивая тревога. Дети, кончив зав-

тракать, бесшумно исчезли. Пшеничка о чем-то пристально размышлял. Он был все тот же, даже в том же парусиновом балахоне, с висящими прядями волос, только очки не носил в комнате; и все-таки, если б Маргарита взглянула на него – она вряд бы его узнала. Ему было около тридцати пяти лет; но в гостях, в свободное время, со своими прибауточками и веселой беспечностью человека, довольного судьбой и желающего другим добра, он казался совсем юным, гораздо моложе своих лет; дома, в часы одиночества, с выражением упрямства и настойчивости в чертах – он был почти старым, уж никак не моложе сорока. Впрочем, лицо его быстро преобразалось, и никто бы не сказал, который Пшеничка настоящий. Они оба были одинаково настоящие.

Около половины второго доктор, не торопясь, сошел с балкона и направился через сад к Агнии Николаевне. Но за сквозной решеткой сада, на улице, мелькнуло малиновое платье, и удивленным глазам Пшенички представилась входящая в калитку Варвара Николаевна.

– Ах, вы дома, доктор? Я хотела... Я шла мимо... Мне нужно бы сказать вам два слова...

От скорой ходьбы голос у нее прерывался.

– Милости просим! Очень рад! Полюбуйтесь на мои владения! Чем угощать прикажете? А дельце – потом... Ведь никто у вас не болен? Андрей Нилыч?

– Нет, слава Богу... Я не думала к вам зайти... Шла мимо... И у меня явилась мысль поговорить с вами откровенно.

но о здоровье брата... Находите ли вы необходимым продолжать лечение здесь? И вообще, какое положение...

«Вряд ли ты, матушка, шла мимо, вряд ли и явилась спрашивать о братце... Тут что-нибудь другое. Посмотрим».

– С удовольствием просвещу вас насчет всего, обогащу вас всякими подробностями, милейшая Варвара Ниловна, – произнес он громко. – А теперь... я иду приветствовать одну очень милую даму, жиличку мою и пациентку, вот здесь, в моем же саду. Не пойдете ли вместе? Она одинока и рада будет с вами познакомиться. Я ей про вас рассказывал.

Вава нерешительно повела глазами.

– Она больная? А... что у нее?

– Не бойтесь, не оспа! Так, маленький деранжемент в груди. И даже не маленький, но ничего! Она меня еще не печалит. Пойдемте.

На деревянном балконе, увитом розами, стояла старая тетка, толстая, с беспокояно-кислым лицом. Увидя Пшеничку, она сошла со ступеней к нему навстречу.

– Что нового? – спросил он весело.

– Да что, батюшка! Опять плачет. Прогнала меня из комнаты. Вас все требует. И с постели не встает. С утра, говорит, у нее в новом месте где-то колет.

– Ничего, ничего, посмотрим, – все так же весело сказал Пшеничка и ушел к больной.

Вава и тетка остались на балконе.

– Поверите ли, – говорила тетка, – она рада была жало-

ваться новому человеку, – это несчастный, несчастный характер! Ну больна она, спору нет. Ведь человек чем больнее, тем спокойнее. Лечись, конечно, но ведь и покоряться не нужно. А она в отчаянии. И день и ночь в отчаянии. Не осушая глаз, плачет. Умираю, говорит, и не хочу, а хочу жить. Она просто с ума может свести. Только Фортунат Модестович ее и успокаивает немного.

Пшеничка и на этот раз действовал с успехом. Он приказал Агнии Николаевне одеться, умыться, и через десять минут ее уже вывезли на балкон в кресле. Пшеничка говорил с ней, как со здоровой и немного повелительно. Она его боялась и, кажется, верила ему.

Варвара Ниловна увидела крошечную фигурку, такую худенькую, что ее почти незаметно было среди подушек и белых складок фланелевого капота. Бледные руки с розовыми ладонями нервно собирали эти складки. С невероятно похудевшего, темно-бледного лица, еще молодого, посмотрели на Ваву два синих глаза взглядом бесконечной ненависти.

Этот первый взгляд Агнии Николаевны был так откровенен, что Вава смутилась. Она не знала, за что может ненавидеть ее больная, никогда ее раньше не встречавшая. Но Агнии Николаевне дела не было до Вавы, какая она есть, и она с первого взгляда знала, ненавидеть ли ей человека. Каждый новый человек, здоровый человек – был ее враг. «Вот ведь, и этот еще здоров, и ходит, и не умрет... Зачем не он, а я?» – говорили ее злые и горячие синие глаза.

Она, впрочем, овладела собою при Пшеничке, улыбнулась Вава и подала ей руку. Ее ничто не занимало, кроме ее болезни, и чуть разговор сходил на постороннее, она безучастно скользила взором, думая свое, погруженная в однообразный страх.

Вава, чтобы утешить ее, сказала, что брат ее тоже был болен грудной болезнью и теперь поправляется. Она оживилась.

– Да? Правда? Фортунат Модестович? Какая форма? Острая? Затяжная? Которое легкое? Зарубцевалось?

Пшеничка едва успевал отвечать на вопросы и сказал, что Андрей Нилыч на пути совершенного выздоровления, что хрипы уже не слышны и вес тела увеличился.

Агния Николаевна была очень внимательна, – но вдруг на черты ее легла тень.

– Легкая форма, – сказала она.

И тотчас же с искаженным от зависти и страха лицом прибавила:

– А у меня тяжелая форма, тяжелая! Господи! Вот выздоравливают же другие! Почему не я? Почему не я? Почему я не выздоравливаю? Почему я... О, Господи!

Она заломила худые руки и громко зарыдала.

– Да полно вам! – прикрикнул на нее Пшеничка, – двадцать раз выздоровеете! Вас мори, так не уморишь, при этом вашем упорстве. Только расстраиваете себя. Я лечить вас откажусь.

Она притихла и влажными от слез глазами, трусливыми и жалкими, посмотрела на него.

Пришла горничная из большого дома и сказала, что к барину гости. Когда Пшеничка и Вава шли по аллее от Агнии Николаевне, Вава спросила:

– А что, она сильно больна?

– Плоха, – сказал Пшеничка. – Случай трудный.

– Умрет?

– Ну нет. Ни за что не умрет. Я, признаться, не представляю себе, как она при состоянии ее легких будет жить (хотя, конечно, случаи бывали), но уверен, что она не умрет. Выражаясь выспренне, руки смерти на ней нет. Довольно я, слава Богу, умирающих видал. Тут не ошибешься.

Вава с недоумением, совершенно не понимая, взглянула на него. Впрочем, она сейчас же забыла и его слова, и об Агнии Николаевне. Сердце у нее трепетало от ожидания.

На скамейке около балкона сидел генерал. Увидав поля его панамы, Пшеничка щелкнул языком и подумал: «Эге, мадемуазель, вот оно что! Вот зачем вы ко мне пожаловали! Только что же это, в одном доме живут... Чего ж у меня-то свидания назначать?»

Но генерал не пришел на свидание. Ему в самом деле нужен был Пшеничка, переписать рецепт, который он потерял. Он искренно удивился, узнав Ваву, и обрадовался, кажется.

– Ах, милая Варвара Николаевна, как я рад! Какая случайность! Совсем я завертелся, из города не выезжаю! Сколько

времени у себя в парке не бывал! Что подельваете? Вот скоро уедет милейшая Марья Даниловна – опять засяду дома. Баронесса просила вам попенять, что не заходите к ней.

В речи генерала была суетливость, точно он считал себя виноватым. Вава радовалась, что видит его. Она узнала случайно, что генерал будет в два часа у доктора, и решилась пойти туда. У нее шевелилась смутная надежда, что они вернутся вместе домой.

Но в эту минуту калитка опять скрипнула. Вошел Володя Челищев, свежий, только что из купальни, в ослепительном кителе. Пшеничка встретил его шумной радостью. Володя снисходительно и мягко улыбался.

– Константин Павлович, а я прислан к вам. Баронесса знала, что вы здесь, и просила напомнить вам, что вы в половине четвертого у мадам Розен. Они завтра уезжают. Баронесса и тетушка уже там. У вас экипаж?

– Да... как же. Только, право, я не знаю... День такой жаркий... Разве я говорил?... Обещал?... Я отсюда намеревался домой... – прибавил он, смущенно взглянув на Ваву, угадывая ее желания.

– Обещали, твердо, – с той же снисходительной улыбкой произнес Володя. – Вы прямо отсюда? Отпустите ваш экипаж. Баронесса вам прислала свой.

Генерал покорился. Ему действительно приятнее было бы ехать с Вавой домой и жалко было сделать ей больно, оставить здесь одну. Он посмотрел на нее почти с нежностью.

Вава, готовая заплакать, беспомощная, не понимая своей боли, сердитая, поймала этот взгляд и сразу простила. Ну что ж, пусть едет. Поедет туда, но ему хочется быть с ней. И довольно. Потом все объяснится... Ей стало даже весело.

– Вы тоже туда едете? – спросила она Володю.

– Нет, не еду.

– Хотите, поедemте к нам? Экипаж Константина Павловича свободен.

Она сама не ожидала, что позовет студента. Он для нее был мальчик, ребенок, как Вася. Но она вспомнила, что Нюра гуляла с этим студентом на пикнике, и подумала, что Нюра ему будет рада. Пусть она будет рада! Может быть, она любит этого студента. Пусть все любят друг друга!

Когда Пшеничка провожал гостей, к нему подошла горничная и неизменно проговорила:

– От Агнии Николаевны прислали. Просят пожаловать. Плачут. Очень дурно себя чувствуют.

XII

Володя Челищев понравился всем и нередко стал бывать на горной даче. Тетка его давно уехала, а он еще не собирался в Петербург. Сентябрь стоял удивительный, желтый, жаркий, как июль. В парке теперь висели тяжелые сизые и янтарные кисти винограда. Душистая и пьяная «изабелла», розовый «шасла», длинные «дамские пальчики», плотный и жгучий «барбаросса», скромная «коринка» – все это зрело и наливалось, горячее от горячего солнца. В беседке теперь пахло сладким, спелым соком и старым виноградным листом. Садовник каждое утро приносил Андрею Ниловичу полную корзину. Андрей Нилыч решился предпринять и виноградное лечение.

Солнце заходило раньше и гораздо левее. Уже не летние и еще не осенние ароматы поднимались к балкону из оврага. Ирисы давно отцвели. В сумерках медленно возвращались из парка Вава и генерал, под руку. Сзади так же медленно шел Гитан. Генерал уже не так часто ездил в город, хотя баронесса то и дело писала ему записочки. Но в саду теперь начались какие-то работы, и генерал вместе с Вавой наблюдали за их движением. Утром, по-прежнему читали «Московские ведомости», а потом «Русский вестник». И генерал объяснял Васе, какой прежде был хороший «Русский вестник» и «Московские ведомости», когда издавал их еще его покой-

ный друг, и как теперь уже совсем не то, и какое зло и яд городское управление и гласные суды. Вава слушала с благоговением. Он просил ее однажды подчеркнуть красным карандашом оправдание детоубийцы, женщины с уликами бесспорными, она подчеркнула и возмущалась вместе с ним. Даже вечером Андрею Нилычу сообщила этот возмутительный факт.

Андрей Нилыч рассердился.

– Не рассуждай, пожалуйста, не твоего ума дело! Гласные суды ей не понравились! Скажите пожалуйста! Благородная вещь! Гуманнейшее учреждение! Тебе этот старец втолкует, а ты повторяешь, как попугай.

Как-то вечером, – шел дождь и чай пили в столовой, – после партии в шахматы генерал разошелся и стал нападать на всевозможные злостные «новшества». Андрей Нилыч ему несколько возражал, но не резко, потому что во многих пунктах внутренне с ним соглашался. Спорили они приятно, видимо, уважая обоюдные мнения. Но случайно тут был и Володя Челищев. Он молча слушал разговор и только раз мягко вставил свое замечание. Генерал не понял замечания, но возразил. Володя не понял возражения, хотел сказать, что не понял, но остановился на полуслове. Замолк и генерал. Они странно посмотрели друг на друга, старик, упрямый и прямой, своим живым взором-и чистый, свежий, упругий мальчик с ленивыми, уверенными движениями и холодными, выпуклыми глазами. Они не знали слов,

которыми нужно было говорить друг с другом. Володе казалось нелепым отрицать то, за что стоял генерал, столь же нелепым, как бить покойника. Он подумал не без приятного и грустного чувства, очень определенно: «Ну, долгонько же нам с тобой пришлось бы рассуждать, если начать сначала. Шестидесятые годы, коммуна, либерализм, толстовщина, анархизм, декадентство, народничество... – все это уже прошлое, пережито и в архив сдано, а для тебя еще не начиналось. Пожалуй, что и трудно нам сговориться».

Он ничего не сказал – и генерал умолк, почувствовав между ними темную пропасть. Не было ни победы, ни поражения, молчание легло естественно и достойно.

Нюра не удержалась и кинула на Челищева восхищенный взор. Вася, который внимательно следил за всем, решил про себя, что дядя и генерал не согласны в убеждениях, потому что спорят. А студент и генерал, наверное, одно и то же думают и одинаково чувствуют, только высказывать этого не хотят.

Гости скоро ушли. Андрей Нилыч собрался спать и, позевывая, произнес, пока убирали самовар:

– Какие это странные студенты пошли, право! Видал я в мое время и петербургских, – нет, таких не было! Сдержанный, вежливый и какой-то полумертвый. Черт, его и не разберешь! В ушах у него промыто чуть не до красноты. И нет жару этого молодого, – ничего! Мы, бывало...

– Что ж, – вдруг перебила его Нюра. – Вам хотелось бы,

чтобы он с грязными ногтями ходил и в красной рубашке? Стеариновые свечи ел и орал, как мужик? Пора бы уж это и бросить. В Москве только могут сохраниться такие допотопные понятия.

– С каких это пор, матушка, ты на Москву ополчилась? – с равнодушным удивлением спросил ее отец. – Зачем стеариновые свечи... А только своего в нем нет, либо он боится его, что ли... Пусть, мол, все как я, – и я буду, как все...

– Белоподкладочник, – сказала Маргарита, которая только что вычитала это слово в старом романе Потапенки.

Нюра вдруг взъелась на нее:

– Много и вы понимаете! Белоподкладочник! Да это давно отживший тип! Типы столицы надо наблюдать, чтобы о них говорить. Вы судите комично.

– Нет, – сказал Андрей Нилыч. – Я знаю, каких называть белоподкладочниками. Этот, пожалуй, из других. И как это, ей-Богу, странно! Завели форму-и все студенты стали разные. А прежде, бывало, без всякой формы за сто шагов видишь – студент! И все они были студенты, и всякий уж знал, что такое студент. Да, хорошее время.

Нюра презрительно и тонко усмехнулась.

– Вы, папаша, сказали это совершенно как Радунцев. Я думала, что это он только вздыхает, да старые времена расхваливает, а вам еще рано. Ошиблась, по неопытности.

Андрей Нилыч сдвинул брови. Он, обыкновенно, очень мало интересовался дочерью и не спорил с нею, считая ее

девочкой. Но иногда, если она слишком дерзила, вдруг выходил из себя, начинал кричать, топтать ногами – и Нюра невольно трусила, вспоминая детство, и тотчас же умолкала.

Умолкла она и теперь, заметив, что «папаша» готов рассердиться не на минутку. Она боялась тоже, чтобы гнев каким-нибудь образом не перешел на Володю; он сейчас же заметил бы косые взгляды Андрея Нилыча и, пожалуй, прекратил бы свои визиты.

На другой день он и так не пришел, и потом еще два дня не пришел. Нюра, боясь Маргариты, была весела, но в душе беспокоилась и злилась и даже хотела писать записку, но не знала, с кем послать.

– Что это у вас за книга, Нюра? – спросила однажды Маргарита, увидя, что Нюра укладывается спать и раскрывает в постели гигантский том, толстый, как словарь, в солидном, слегка потертом переплете.

– Что вам за дело? Не Тэн, – ответила Нюра. – У вас на Тэне свет клином сошелся. Как кто спросит, что читаете? Вы сейчас же: об уме и познании, Тэна... Очень эффектно. Только уж пора бы и другое начать. Уж про ум и познание все, кажется, слышали.

Маргарита покачала головой.

– Какая вы стали дерзкая, Нюра, – проговорила она спокойно. – Не знаю, нравится ли это в вас Челищеву. Он, кажется, выдержанный мальчик, недалекий, но вежливый, тактичный.

Нюре стало было стыдно, но, услышав, что Маргарита назвала Челищева недалеким, опять вскипела.

– Слишком молод для вас, оттого и глуп, да? Он с вами, кажется, слова не сказал. Вряд ли могут у вас родиться общие интересы! Я и книгу не хотела вам показывать, потому что вы слишком далеки от всего этого, для вас то, что для нас жизнь, – тарабарская грамота! Пожалуйста, взгляните, секрета нет, не французский роман из запрещенных в России!

И она, перевернув книгу, открыла заглавный лист. Маргарита хотела с достоинством отвернуться, но в последнюю минуту любопытство превозмогло, она взглянула и прочла: «Капитал», и внизу: Карл Маркс.

– Ну что? – насмешливо спросила Нюра. – Много узнали?

– Меня не развивают студенты, – возразила Маргарита. – А только для этого и созданы, кажется. Что, уже влюбились в вашего развивателя? Или еще нет? Не замедлите, дело обыкновенное. Это очень трогательно: тетушка в старичка – и у нее глядишь, убеждения; на «Московские ведомости» молится, Каткова каждый вечер за упокой поминает; племянница в студентика – и уже тоже с убеждениями; известны студенческие убеждения! Сто лет как известны!

– Вот как! Известны! Скажите пожалуйста, в чем же эти «студенческие убеждения», если они вам так известны! Вы, может быть, и Карла Маркса читали? Скажите, скажите, не скрывайте!

– Я вас боюсь, – холодно возразила Маргарита. – Вы еще

мне глаза выцарапаете. Бешеная какая-то, – прибавила она, выходя из комнаты.

Злобный, беспокойный смех Нюры сопровождал ее.

Нюра не стала, оставшись одна, читать дальше Карла Маркса. Толстая книга лежала развернутая на краю постели. Нюра облокотилась на подушку и смотрела, как дрожит пламя свечи. Она думала о том, какая Маргарита пустая и злая и зачем нужно говорить гадости, что она влюблена в Володю Челищева, когда она совершенно не тем интересуется... Она очень благодарна Челищеву, что он дает ей книги, рассказал о том, чего она без него знать не могла, объяснил неясное, открыл целый новый мир... Она так и подумала: «открыл новый мир...» Вот он уедет, оставит ей книги, будет писать иногда, и что ж?..

Но в эту секунду при мысли о том, что он уедет, такой холод и такое отвращение ко всем книгам, которые он ей оставит, охватило ее, что ей стало страшно. Но в следующее мгновение она уже овладела собой, разозлилась и потушила свечу, не дожидаясь Маргариты, которая еще не легла (они спали в одной комнате). Нюра повернулась лицом к стене. Она твердо решила не думать. Толстый Карл Маркс упал на ковер.

XIII

На самой нижней дорожке парка, в ущелье, около высохшей, запущенной цистерны, на каменной широкой скамье сидели Нюра и Челищев. Они часто ходили в парк, читали какие-то книги, и нижняя, глухая, всегда влажная дорожка была их любимым местом. С ними часто отправлялся Вася, который любил следить за переливами Володиного голоса, молодого и важного, когда он читал вслух благоговейно внимательной Нюре. Что читал Володя – Вася совершенно не понимал и даже как-то не хотел понимать. Следить за изменениями, падениями и подъемами голоса ему казалось интереснее и нужнее. Ему думалось, что и Нюра только делает вид, что интересуется загадочным смыслом, а в сущности, слушает то же, что и он.

Теперь читать перестали, потому что уже стемнело. Вася сидел на каменном, заросшем повиликой и плющом краю пустой цистерны – как раз против скамьи. В сумерках мутно белелся шелковый вуаль, длинный и легкий, накинутый на голову Нюры. Челищев снял фуражку и закурил папиросу. Он был молчалив. Синяя свежесть спускалась с неба.

– Какая разница, – тихо сказала Нюра, – между мной несколько недель тому назад – и теперь! Разница не по существу, конечно, потому что все это жило во мне бессознательно, но разница в осмысленности стремлений! Теперь я

почти живу – тогда только рвалась к жизни, устарелую правду считала единственной. Конечно, я знаю, мне нужно еще много читать, многое понять, много бороться, но по крайней мере теперь передо мною дорога. Как это просто! Идти смело и сознательно на борьбу, на жизнь, на равенство! Все общее – потому труд общий; все для всех, всякий должен работать, потому что может работать... Да, да, я чувствую тут великую, глубокую правду; почему Анисья или Устинья будет на папиросной фабрике работать двенадцать часов в сутки, а я – сидеть здесь, под кипарисом, и читать книжки? У меня такие же руки, как у нее, так же я способна страдать от голода и холода, я молода, здорова. Неужели есть люди, которые могут возражать, могут отрицать эту простую и великую истину всеобщего равенства, труда и прогресса?

Она остановилась. Володя молчал. Минутами ему было неловко перед собой, слишком уж все это шаблонно вышло: студент развивает девочку, она увлекается, читает Карла Маркса, забывает все. Володя неохотно пошел на это; но отчасти он сознавал, что нет причины не поговорить с девочкой, которая жаждала разговоров и которую уже раньше «развивали» без всякой системы и сбили с толку; отчасти и девочка ему нравилась, и чем дальше, тем сильнее.

«Вот бы ее в Петербург, такую, – думал он. – Она нам отчасти и полезна могла бы быть».

– Я очень рад, – громко сказал он, – если мог что-нибудь дать вам, Надежда Андреевна. Поверьте, что мне приятнее,

чем вам. Ваш живой, гибкий ум, впечатлительная и богатая натура сделали все – я служу вам лишь инструментом, внешним пособием. Я горжусь такой блестящей ученицей.

– О, это неправда, – тихонько сказала Нюра и покраснела в темноте. – Одно знаю, что я чувствую себя способной отдаться этому всей душой... Всей душой... И я верю, наступит этот час великой справедливости, который предсказан гением, час единения, общения, равенства малых и больших...

Ее взволнованную речь прервал вдруг недоумевающий голос Васи на цистерне:

– Как это ты говоришь? Владимир Дмитриевич, что же вы ее не поправляете? То сначала сказала о справедливости, а сейчас за этим, что малый равен большому. Как же большой, если он одинаков с малым? Оттого и называется – большой и малый, что они не одинаковы. А что же это будет? До чего договорились!

Он засмеялся снисходительно и добродушно.

При первом звуке Васиного голоса из темноты Нюра вздрогнула. Она совсем забыла, что не одна с Челищевым. Потом, по обыкновению, рассердилась.

– Сколько раз я тебе говорила, Вася, что бы ты не смел связываться в разговор старших! Как тебе не стыдно!.. Не понимаешь, не вникаешь, не слушаешь, а лезешь рассуждать. Умей держать себя прилично.

– Да что же я сказал, – жалобно простонал Вася.

Нюра опять хотела прикрикнуть, но Володя Челищев с неожиданной мягкостью и внимательной снисходительностью проговорил, усмехаясь:

– Не сердитесь на молодого человека за его любознательность, Надежда Андреевна. Что ж, всякий имеет право голоса. И неясное всякому надо стараться разъяснить. Почему вы, молодой человек, не хотите, чтобы у всех людей была одинаковая булка утром?

Вася был уже раздражен тем, что студент называет его «молодым человеком», и чувствовал, кроме того, что ни за что не совладеет с ним в споре и оскандалится, уже потому, что студент будет говорить от книжек, а Вася от себя, и его тотчас загоняют.

– Отчего не хочу? – начал он взволнованно. – Я про булку ничего не говорил. Я не знаю, почему вы про булку. Если булка, то пусть себе будет одинаковая. Только и это ни к чему. Я вот мало ем, а татарин Алашка, что в саду работает, пилаву по две миски убирает, и то недоволен. На что ж нам одинаковая булка?

– Ну, у вас будет поменьше, – улыбнулся студент. – Вы же, кстати, и меньше в саду наработаете. Вам и не дадут столько.

– А Бортнянскому сколько дадут? – в полном волнении воскликнул Вася и даже вскочил. – Сколько же ему надо дать, чтоб было справедливо?

– Бортнянскому? – удивлением спросил студент. – Ах, это, кажется, композитор такой духовный? Ну, и ему дадут

столько же, сколько Алашке, если он столько же канавы на-роет.

– Как? Бортнянский и Алашка вместе канаву будут рыть? Зачем же Бортнянскому канава, когда он другое, совсем особенное, может делать, чего Алашка не может и никто в мире больше не может? На что ему Алашкина канава? Это значит... не равными всех делать, то есть равными, но всех маленькими, и больших маленькими, чтобы так, да? Только этого нельзя, да, нельзя...

– Позвольте, молодой человек. Да вы не горячитесь. Что толку кричать? Вот мы так скажем. Ну, положим, ваш Бортнянский чудесные канты писал. Только ведь это такая штука, спорная, кому понравится, а кому нет; кому нужна – а кому, вот мне, например, хоть бы и никогда ее не было; как тут по справедливости рассудишь, какую ему булку положить, большую или маленькую? И кому об этом дать судить? А канава – это ясно, что нужно, да и видно сейчас, столько ли наработал, сколько другой, или меньше. Вот пускай ваш Бортнянский покопает канаву немножко, сколько другие (потому что когда все равно будут ее копать, то ведь времени каждый меньше будет за работой проводить), получит за это свою булку, ровно такую, какая ему нужна, а потом, в свободные часы, и сочиняет свои канты – кто ему может помешать? Это уж его дело. Видите, так оно куда справедливее. И Алашка, и Бортнянский – ведь оба есть хотят? Почему же они не равны? Почему это вас оскорбляет?

Вася давно глотал слезы. Обида и возмущение давили ему горло. Он хотел говорить, кричать и рыдать – и чувствовал, что не умеет высказать своей души.

– Почему не равны? – произнес он глухо. – Да потому что не равны... Потому что так сделаны все, неравными, и потому что хоть вы триллион секстиллионов книжек прочитаете, не можете вы сделать, чтобы вы были, как я, и нигде этого не сказано, и так начато, и все это страшно, что вы говорите. Да... Страшно...

Он вдруг ребячески громко всхлипнул, не удержавшись, быстро повернулся и убежал в темноту.

– Впечатлительный молодой человек, – сказал Володя равнодушно, немного помолчав.

– Зачем вы говорите с ним? – небрежно произнесла Нюра. – Он ведь совсем не такой, как мальчики его лет. Воспитание, ужасное детство, играло, конечно, большую роль. Он совсем дурачок.

Володя ничего не ответил и бросил папиросу в кусты. Красный полукруг осветил на мгновение вуаль Нюры с легкими концами и ее бледное, свежее лицо, которое показалось студенту очень красивым. Глаза ее, обращенные к нему, сверкнули мягким, влажным блеском. Ему стало скучно, что он должен скоро уехать. У него было намерение сказать ей сегодня, что он уезжает, но потом это как-то не сказалось.

Они молча встали и пошли в темноте по дорожке. Хотя ночь была совсем черная и Нюра поднималась вверх с тру-

дом, Володя не предложил ей руку.

– Все еще розами пахнет, – проговорила Нюра, когда они вышли наверх.

– Да. Это поздние, должно быть, – сказал Челищев. И прибавил, немного помолчав: – Совсем теплые ночи, хотя и сентябрьские.

– Внизу сыро было. Здесь теплее.

– Вам холодно?

Нюра не сразу ответила:

– Нет.

Они медленно и молча вышли за калитку сада, миновали двор. Ночь была черно-синяя, мрак такой густой, что его не разгоняли, а усиливали большие освещенные окна дома.

Они шли все тише, точно не желая прийти. Невидное дерево, нежная ива, вдруг коснулась низко опущенной ветвью лица Нюры. Она едва слышно вскрикнула от неожиданности и совсем остановилась. Володя обнял ее за плечи и притянул к себе. Через мгновение она почувствовала на своем лице щекочущие и жесткие завитки его бороды, и теплые губы прижались к ее губам.

Это произошло так быстро и так просто, что Нюра ни о чем не успела подумать. Без мыслей она в следующее мгновение входила в ярко освещенную столовую, где уже сидел за чаем Андрей Нилыч.

Свет резал ей глаза, и она закрыла их рукой.

– Ты одна? – спросил Андрей Нилыч. – А где же... Вла-

димир Дмитриевич?

– Он... торопился... Не мог зайти, – проговорила Нюра
монотонным голосом и прошла к себе.

XIV

Генерал сидел у себя наверху, около стола, и читал книгу *Madame de Sevigne*. Был час двенадцатый. В широко открытое окно глядела черная, совсем теплая сентябрьская ночь. Внизу слышны были еще голоса, на земле, под окном, лежал светлый круг от лампы на балконе, захватывая острые поникшие листья ирисов, которые давно отцвели. Листья в этом свете казались бледно-серыми.

На коленях генерала лежал толстый плед. Ревматизмы, несмотря на теплые, почти жаркие дни, стали что-то чаще мучить его, и он сегодня с трудом сходил в парк. Любимая и всегда успокаивающая его *Madame de Sevigne* не читалась сегодня: генерала тревожили заботы и мысли. Он часто поднимал глаза с освещенной страницы и рассеяно смотрел вперед.

Комната тонула в полумраке от низко спущенного зеленого абажура. Она была очень проста и невелика. Темная мебель, глубокое кожаное кресло и большой старинный шкаф с книгами. Книги все были любимые генерала, большею частью французские. Он уважал, впрочем, из русских кое-кого, некоторые вещи Тургенева, Писемского. Любил Озерова, но находил, что он устарел. Он имел определенное мнение о Тютчеве, которое часто высказывал, всегда одинаковыми словами. Но все-таки французские книги преоблада-

ли, из хороших. Мюссе он в свою библиотеку не допускал, считал его мальчишкой, хотя и не отказывал в некотором таланте. Своих «французов» он вздумал было завести каждого в двух экземплярах, чтобы не возить их постоянно из Крыма в Москву и обратно; попробовал – и не мог; он привык к книге, к ее переплету, к бумаге, к шороху страницы, к согнутому уголку, к пятнышку на заглавном листе; и только что купленная книга была ему чужая, не друг, – и огорчала его долго. «Французы» четыре раза в год руками привычной Катерины укладывались в нарочно сделанные для них ящики – и ехали из Москвы в Ялту и обратно в Москву, где та же Катерина аккуратно и быстро складывала их в такой же точно шкаф в просторном генеральском кабинете в его беленьком особнячке на Поварской. Через час после приезда генералу казалось, что он не двигался с места: те же пресс-папье лежали на громадном зеленом письменном столе, в спальне были те же шипчики, баночки и стаканчики, без которых он не мог обойтись – и все это было дело проворных рук бесшумно действующей Катерины. Ей не нужно было приказывать, не нужно звать: и теперь, генерал знал, что ровно без четверти двенадцать Катерина внесет ему питье с сахаром и лимоном, с серебряной ложечкой в стакане – и удалится.

Но была только половина двенадцатого. Голоса внизу замолкли, и круг света под окном исчез. Генерал опять отвел глаза от книги. Прямо перед ним, на столе, в бархатной рамке стоял бледный акварельный портрет – покойной генераль-

ши; он всегда, и в Москве и в Ялте, стоял на том же месте письменного стола; стоял так давно, что генерал его совершенно не видел и не замечал, и подумать о нем он мог только если бы портрет вдруг пропал.

Мысли лениво-неясные, немного тревожили генерала. Он думал о своем нынешнем приезде в Крым, о Ваве, о ее «чувстве» к нему; он так мысленно и говорил «чувство», избегая слово «любовь», которое давало ему неловкость перед собою. Впрочем, и о «чувстве» он думал с удовольствием, совместливой гордостью и умилением. Вава ему нравилась и трогала его; он полузаметно отдавал себя ее заботам; а временами перед ее откровенным обожанием он терял всякое сознание пролетевших годов; он искренно забывал, что он не молод, она ему казалась девочкой; и когда-то пережитое, полузабытое, сладкое – он неожиданно переживал снова с особой, но не меньшей отрадой и волнением.

Он вспомнил, как на днях в парке он сказал, что скоро зима, скоро надо в Москву... Сказал машинально, не думая. И Вава вдруг тихо заплакала. Ему стало ее очень жалко, но и приятная теплота облила сердце. Он утешал ее, поцеловал обе руки. И опять она глядела на него детски счастливыми глазами, в которых сверкали слезы.

Жениться на Ваве генералу как-то сначала и в голову не приходило, то есть приходило – но очень смутно; зачем перемешать, делать что-то, когда и так хорошо и отрадно. Пусть так и остается.

Но шло время; генерал все меньше думал о своих летах, все более естественным казалось ему не расставаться с Вавой. Да и другие соображения явились: он начал подумывать, не компрометирует ли он девушку? Какие-то старые, давно не употреблявшиеся, залежалые благородные понятия зашевелились в глубине души, проснулись и заговорили. Они были усталые, генерал отвык думать над этими вопросами, и теперь ему было не по себе. Но он заметил на столе только что присланные ему фотографии Ливадии; он обещал их Ваве. Ему захотелось написать ей записку, но было поздно. Они часто вечером обменивались так записками.

Вошла Катерина, неслышно ступая, и принесла питье. Генерал взглянул на нее мельком и отвел взор, думая, что она уходит. Но Катерина не ушла, а остановилась у двери – и это удивило генерала и заставило очнуться. Катерина встретила его недоумевающий взор и сказала, сжав тонкие губы:

– Ваше превосходительство, осмелюсь доложить вам: очень болею я и не имею сил нести службу. Если угодно будет вашему превосходительству отпустить меня...

Генерал не понял. И, взглянув еще более изумленными глазами, повторил ворчливо:

– Отпустить? Куда? Что такое?

– Совсем отпустить. Силы не те, не могу служить вашему превосходительству. Да и служба моя, может, не угодна вашему превосходительству...

Генерал рассердился.

– Это еще что? Ты, Катерина, пожалуйста, пустяков мне не говори. Служба твоя всегда одинакова. Ты вот мне морсу кизилового подай.

Катерина принесла морс, но, поставив его перед генералом, опять воинственно сказала:

– Нет, как угодно, а я не останусь. Берите себе другую. Я еще ни по чьей дудке не плясала. Мне на интриганство смотреть не приходится, уж лучше уйти, чтобы глаза не видали.

Генерал последних слов не расслышал. Но он немного поверил Катерине, не желая верить, и ему стало холодновато и скучно. Это что за возня? Да как же без Катерины? Вот уж пятнадцать лет она у него, он даже не помнит времени, когда ее не было. Она одна все знает и умеет. Он вдруг представил себе, что он идет в спальню, что перед кроватью нет полосканья, что подушки лежат по-иному. А книги? Как же без Катерины? Он почувствовал себя беспомощным, маленьким и больным.

– Ну, ну, – проговорил он. – Ступай. Я не люблю пустяков.

– Истинно говорю вашему превосходительству, – настаивала Катерина острым, как пила, голосом. – Не в моих силах. Служила, пока возможности силы были. Теперь, как такие перемены, и мало ли еще что будет, не вижу возможности.

– Какие перемены? – сказал генерал. – Никаких перемен нет.

Катерина махнула рукой, точно не желая говорить.

– Ах, что уж! Об одном молю, ваше превосходительство,

довершите благодеяния, отпустите меня к своему месту. Я не из корысти вам служила... Да у вас другие слуги будут.

При мысли о новых слугах у генерала нестерпимо заныло под ложечкой.

– Ты ступай теперь, Катерина, – сказал он слабо, но хмурясь. – Ступай.

Катерина постояла, вздохнула и вышла.

Генерал поднялся с кресла, причем запнулся за конец пледа и чуть не упал. Неожиданная, непонятная неприятность подкашивала его. Это невозможно! Ноги заболели. Все тело требовало привычного, не замечаемого покоя, и боялось, и тревожилось, что его не будет.

Как тут устроить? Что делать? По счастью, он вспомнил, что были уже разные случаи, когда Катерина просила расчета, а потом все улаживалось само собою.

Но тело все-таки тревожилось.

Он прошел к себе в спальню. Привычные вещи были приготовлены на привычных местах. Генералу вспомнилась Вава. Но как-то мысль о ней показалась чужой на мгновение и не дала никакой отрады.

XV

Наступил октябрь. Дни, хотя и делались короче, не холоднели, только вечера были свежие. Володя Челищев, розовый, упругий, здоровый, вдруг простудился и заболел. Он жил на отдельной квартире, но когда заболел, явилась добродетельная баронесса и чуть не силой перевезла к себе племянника своей подруги. Лечил Пшеничка, и Володя скоро стал поправляться и сделался еще розовее и свежее, но он уже взял отпуск в университете до конца ноября – и решил прожить это время здесь. На это у него и помимо здоровья были причины.

У Сайменовых он не бывал давно; баронесса его выдерживала на своем балконе. Но он писал Нюре длинные, почтительные и тонкие письма, она отвечала на больших листах, крупным красивым почерком, но немного слогом гимназических сочинений. Она излагала бесконечно свои соображения о книгах, вернее излагала их содержание и восхищалась. Но ей казалось, что она делает удивительное и важное дело. Она писала с волнением и радостью, была счастлива и не замечала ничего происходящего вокруг нее.

А происходили удивительные вещи. Маргарита становилась сумрачнее с каждым днем, похудела и пожелтела. Пшеничка даже заботливо спросил ее, не болит ли что-нибудь, и получил самый холодный ответ. Маргарита в глубине ду-

ши, несмотря на сознание, что делает невозможную, глупую вещь, решила отказать Пшеничке наотрез, если он спросит у нее опять последнего ответа. Но Пшеничка будто проник в ее мысли; он держал себя мило, терпеливо и выжидал случая. Он не совсем понимал, что делается с Маргаритой.

– Дурь нашла, – говорил он про себя. – Пусть, ничего. Барышни – ведь они все так. Переменится.

Девочек он своих отправил, с мальчиком ждал пока. Несносной Агнии Николаевне после двух трех дней стало хуже, она визжала и рыдала с утра до ночи, бедную тетку довела до такого состояния, что она сама в слезах жаловалась Пшеничке:

– Поверьте, доктор, это хуже каторги. Я сама нервная. У меня ум за разум заходит. И себя уморю, и ее вконец расстрою. Намедни, что бы вы думали? – она мне кричит: жить хочу! жизнь люблю! Это как всегда-то, а у меня в голове помутилось, зло меня взяло, и все ей я тут высказала. Она кричит – а я еще пуще. На что, говорю, тебе так жизнь понадобилась, чем так полюбилась? Смотри, говорю, муж у тебя самый такой-сякой, выпивает даже, и человек этакий маленький, и на стороне себе приглядел давно, в деньгах вы всегда стеснены, на одно лечение теперь сколько пошло, и всякие такие неприятности – что тебе, говорю, так из себя выходить? Покорись, Бог знает, что делает. Он тебя без крику подымет, коли такова Его воля... А она вдруг замолкла, смотрит на меня страшными-престрашными глазами и глу-

хо так засмеялась. «Моей, говорит, воли нет умирать. Кабы я, говорит, покорила, меня бы уж давно свезли. Жизнь, говорит, не бывает ни хорошая, ни дурная. А бывает только жизнь или смерть». Ей-Богу, так и сказала. Я, признаться, совсем испугалась: и жалко мне, и думаю, уж не помутилась ли она от своей болезни?.. Подите вы ради всего святого к ней. Вас только и слушает немного. Господи! И что это за человек уродился!

Пшеничка посмеивался и шел к Агнии Николаевне.

Выдался удивительный день в конце октября. Желтый, прозрачный, как стекло, с кротко радостными небесами. Пахло паутиной, утихим ветром, увядающей травой и гарью, – далеким, таким далеким дымом, что глаз не видел его тени в хрустальном воздухе. После завтрака вынесли на лужайку перед балконом, на солнце, кресло для Андрея Нилыча, стол и стулья. Тут было лучше, на вянущей траве, чем на балконе.

– Не сыро ли мне? – озабоченно спросил, не обращаясь ни к кому, Андрей Нилыч.

Никто не ответил. Тогда Вася, с простотой и ласковостью поспешил разуверить:

– Нет, дядя, будь спокоен. Не сыро.

Нюра посмотрела на отца, закусила слегка выбившуюся из косы прядь волос (у нее была такая привычка) и подумала про себя: «Вовсе он не так болен. Даже совсем здоров. Нечего и торчать ему, в сущности, здесь всю зиму. Прихоти

праздного человека».

Нюра совершенно не любила отца. Ей даже в голову не приходило, что его можно любить. Она боялась его в детстве, это невольное чувство возвращалось к ней и теперь, когда он вдруг начинал неистово кричать и сердиться, но более она ничем не была с ним связана. Она знала, что он ее не любит, хотя думает, что любит, ему диким казалось бы знать, что в нем нет чувства, которое есть у всех других. Отцы любят дочерей – значит, и он любит дочь, и даже разговору тут никакого нет. Так же он любил и мать Нюры, с которой жил всего около года: она оставила ему кое-какие деньги.

Нюра знала, что в Москве есть Марья Семеновна, полная дама с очень черными бровями. Она была генеральша, вдова. Бывала у них редко, но отец к ней ездил. Потом они не поладили, потом опять поладили, на Андрея Нилыча эти неважные дела мало производили впечатления. Теперь они и переписывались редко, а переедут в Москву – опять будет Марья Семеновна. А может, и не будет. Нюре это было решительно все равно. Подумал ли отец о ней когда-нибудь? Спросил ли о чем-нибудь? Для него важно, здоров ли он, все ли в доме идет прилично; служебные новости он рассказывал вечером, за пасьянсом, все равно кому, кто случится: Ваве, Нюре, няне Кузьминишне. Теперь он чаще всего разговаривал с Васей, потому что Вася всегда внимательно его слушал.

Андрей Нилыч был очень рад за себя, что вот, делает доброе дело, воспитывает сына своего покойного брата. Маль-

чик едва не погиб с матерью. До сих пор какой-то блаженный. Андрей Нилыч думал было отдать его здесь в прогимназию, потом решил, что пусть эту зиму Нюра с ним позаймется: ей делать нечего.

Уроки Нюры были для Васи глубочайшим и постоянным ужасом. Она занималась через силу, с нахмуренным и злым лицом. Ей казалось это бесполезным и невозможным выучить Васю чему-нибудь, чему люди учатся. Он писал безграмотно и, выучив умножение, спокойно забывал вычитание. Он старался и мучился, мигая покорно своими карими, воспаленными глазами, силился понять хоть что-нибудь и чем больше думал, тем больше открывал вещей, которых он не понимал. Думал над вычитанием и видел, что не понимает классы цифр, начинал думать над классами – и уже не понимал цифр; думал о цифре-и ему казалось неясным, что цифра и число одно и то же; и что такое число? И почему для числа нужны одинаковые предметы, и что когда берут их «вообще» и что такое вообще?

То же было с грамматикой. Он думал над суффиксами и частями речи – и не понимал, зачем это люди выдумали это все, назвали и учат других, когда ничего этого нет, а есть просто слова. Груша... Что такое груша? Конечно, груша. Ведь это ясно. А его учат, что то, что она груша, не важно, а главное она – существительное, А иногда, кроме того, что существительное – еще подлежащее.

«Господи! за что это мне глупость такая дана, – тоской

думал Вася. – Ну, не понимаю я, пусть бы наизусть хоть выучить, запомнить бы, покончить бы скорее со всеми подлежащими и задачами на все действия – и вот тогда бы, на свободе, на понятное смотреть...»

Он исчезал в парке, в сады – смотреть на понятное – во всякую свободную минуту. Но Нюра была строга и задавала ему нескончаемые уроки.

Теперь, на предбалконной лужайке, он усталыми и грустными глазами глядел на уютные скалы гор, на бледное, радостное небо, на веселое ущелье внизу, где, он знает, течет бурливая речка. На коленях у него лежит задачник. Задано шесть задач, а он сделал только одну.

– Поезда выходят с противоположных станций, один в два часа сорок минут, другой в два часа восемнадцать минут. Спрашивается, когда они встретятся, если расстояние... Если один делает... Дядя, дядя, комар! Новый, живой, ей-Богу! Ноги длинные и веселый. Он уже не доживет до весны, а, дядя? Ему, я думаю, это все равно. Что ж? он не представляет себе... Он и не боится.

– А вот ты попробуй его словить – он увернется. Значит, боится.

– Нет, это он так, не понимая. И сейчас же забудет, и ему хорошо. Дядя, отчего это люди ничего не забывают? А? Это лучше, если не забывают ни о чем?

Андрей Нилыч предавался кейфу, грел свое тело на солнце, не думал, как комар, – и ничего не ответил. Но Нюра ска-

зала строго:

– Ты бы, чем пустяками развлекаться, над задачами бы подумал. Я не пушу гулять, если не решишь.

Вася тоскующими глазами обвел вокруг, прощаясь с лучезарным воздухом и ласковыми горами, – и углубился в задачник, что-то нашептывая.

– Я от тети Любы из Петербурга получила письмо, – проговорила Нюра.

Андрей Нилыч не сейчас откликнулся.

– От тети! Какая она тетя? Двоюродного материного племянника жена. Дрянь баба, знаю ее. Сквалыга, пройдоха! Все для детей, все для детей, а и дети не знают, куда от нее сбежать. Ну, что она пишет?

Нюра, хмурясь, слушала отца.

– Вы всякого браните, кто на вас не похож, – сказала она дерзко. – Какие у вас основания поносить так тетю Любу, которую, вы говорите, что знаете, но не знаете, и которая вам, кроме добра, ничего не сделала? Я ее, по крайней мере, очень люблю и уважаю.

– Ну, закипела! – примирительно протянул Андрей Нилыч, которому лень было затевать спор. – Бог с ней. Хороша она, так хороша. Ну, что ж она тебе пишет?

– Удивляется, как я выношу эту бессмысленную жизнь, без людей, без книг, без занятий...

– Какие тебе занятия? Какие книги? В библиотеку ведь подписаны? А людей каких? Женихов, что ли? Молода, по-

дождешь, дай отцу выздороветь.

– Что с вами говорить! Ведь соображать все равно не хотите. Женихи, подождать до Москвы... Лучше прекратить разговор.

– Это уж как тебе угодно, – с начинающимся раздражением возразил Андрей Нилыч. – Только я решительно не понимаю...

– Я знаю, что не понимаете. Кончим, пожалуйста. Я никак не могу сделать, чтобы вы понимали. Тетя Люба меня понимает, с меня этого пока достаточно.

Андрей Нилыч хотел совсем рассердиться, но Нюра быстро прибавила равнодушным голосом:

– Квартиры очень вздорожали в Петербурге. Тютя Люба пишет, что не решается расстаться со своей, хотя она теперь для нее слишком велика: Сережа на три года в плавание ушел, а Нина поступила на курсы и живет в интернате. Одна Лизочка с ней. Спрашивает меня, не собираюсь ли я в Петербург, предлагает жить у нее.

– Что ж? – сказал Андрей Нилыч. – Были бы мы в Москве – можно бы к ней нам с тобой погостить съездить, недельки на три. Театры там, итальянцы, что ли...

Нюра презрительно передернула плечами.

– Опять вы не понимаете! До театров мне! Что я, захо-лустная барышня, что ли, которую привозят в Петербург на Невском магазины осматривать! Тетя Люба спрашивает, не собираюсь ли я на курсы или куда-нибудь, и предлагает у се-

бя комнату.

– Вот оно что, – протянул Андрей Нилыч. – Ну, напиши ей, напиши, что у тебя, слава Богу, этих пустяков в голове не заводилось. На курсы? Уж не на службу ли еще? Пока, матушка, твоя служба при отце, а что дальше будет – посмотрим. Авось курсы в Москве откроются, да более рациональные, чем эти петербургские. Женщинам иное воспитание надобно.

– Я пошла бы на фельдшерские, – вполголоса, как бы про себя, сказала Нюра. – Очень хорошо, говорят, поставлены. Чтобы присмотреться...

– Ты, кажется, заговариваться начала, матушка, – спокойно и лениво молвил Андрей Нилыч. – На фельдшерские! Я бы этого не допустил. Да и о чем болтать? Не в Петербург мне для тебя переехать? Праздные разговоры.

– Но позвольте, папа, – решительно начала было Нюра. – Я не понимаю одного...

– Ага! вот и ты теперь не понимаешь! Только не одного, а ничего не понимаешь! Разговоры это пустые, я устал и думаю пойти к себе отдохнуть. Будет полезнее.

Нюра вспыхнула и сжала брови. Она хотела возразить, но в эту минуту Вася сказал жалобным, грустным голосом:

– Нюра, как хочешь... Я не могу этой задачи решить про поезда. Я хоть до смерти буду сидеть, не решу. Я совсем не понимаю, как это узнать, когда они встретятся. Я не понимаю, зачем мне это знать, и не все ли равно, когда они встре-

тятся. Я вот с тобой такую же задачу решал, решил – и что же? Получились какие-то минуты, я их сейчас же забыл, и ты тоже. Что это за решение? Позволь мне, Нюра, не решать эту задачу! Я тебе потом другое что-нибудь решу. Умоляю, Нюра, позволь, а?

Нюра хотела прикрикнуть на мальчика, но Андрей Нилыч, отчасти из добродушия, отчасти чтобы позлить дочь, посмеиваясь, сказал:

– Не решай, не решай, Васька! Уж ведь решил одну? Ну, так я позволяю, отдохни до обеда. Замучили тебя?

– Если он устал, конечно, пусть не решает, – проговорила вдруг сметливая Нюра. – Я сама хотела дать ему отдых до обеда.

Вася чуть не прыгнул Нюре на шею – какая добрая! Он закричал «ура!», потом «Боже, Царя храни» и «Аминь», и так высоко подкинул задачник, что он раскрылся и зашелестел тонкими листиками на голубом фоне улыбающегося неба. Вася редко кричал, прыгал и шумел; он и теперь скоро утих, снес задачник домой и в парк не пошел, а только присел на краю лужайки, где начинались кусты обрыва, лицом к лиловым горам, и через минуту едва слышна была, переливаясь, его тихая песня, какой-то тропарь или стихарь, почти без слов, однообразный и радостный, как высокое небо.

Андрей Нилыч ушел спать. Нюра принесла толстую книгу и стала ее читать, нервно делая какие-то отметки на бумажке. Маргарита, угрюмая, небрежно одетая, сидела, как сиде-

ла до сих пор, молча и ничего не делая. Сегодня к ней шла ее мрачность: полуразвившиеся волосы лежали в красивом беспорядке, и лицо казалось значительнее.

Со стола убрали, а она все сидела, опершись на руку, и смотрела пристально на скатерть. Вавы не было. Вчера Вава казалась такой счастливой, это ясно было, что дело налаживается. И почему бы ему не наладиться?

Солнце, обойдя дом, кинуло косые лучи на угол, и первый луч упал на красивую руку Маргариты. Она его не замечала. День становился жарче и блистательнее. Горы грелись на солнце и были как живые. Золотая осень, сильная, свежая и мудрая, говорила о жизни и тишине. Бледное море, едва голубее, чем небо, не вздыхало внизу. В солнечном воздухе толпились мошки, крошечные, веселые, только что родившиеся, но уже смелые, крылатые и легкие. Казалось, не придет закат этому сверкающему дню. И долго было еще до заката. Веселый широкий луч захватил теперь весь стол и ласково заглянул в толстую книгу Нюры. Она нетерпеливо прищурилась и слегка отодвинула книгу. Тишина была полная, только Васино пение журчало и замирало, не обрываясь.

Но вдруг Вася умолк, и тотчас же послышался его встревоженный голос:

– Посмотрите-ка! Что это такое?

Он указывал направо. Маргарита и Нюра невольно подняли глаза. Направо, далеко внизу, где только сейчас дышало веселое море, – моря больше не было. Едва угадывался го-

лубой свет у берегов, но и он исчез прежде, чем о нем подумали. Громадное, бледное, толстое, мягкое и душистое катилось на берег. Оно было круглое и, должно быть, тяжелое, потому что не подымалось вверх, а никло к земле, прилегало к ней, лизало ее и ползло на нее. Отделялись неясные, трепещущие, серо-прозрачные лапы, захватывали горы и медленно заползали дальше. Оно накатывалось сонное, слепое и дальше закидывало свои дрожащие, бесчисленные, чуть видные лапы, точно они ощупывали дорогу впереди.

– Это... туман с моря плывет, – сказала Нюра. – Какой страшный! Я никогда не видала.

– Облако! – вскрикнул Вася. – Только оно злое, потому что на земле. Видишь, это не туча, а облако, оно белое... Оно было бы доброе и красивое на небе, а здесь – видишь? Видишь, какие лапы посылает? Вот сейчас весь город съест... Вот церковь съело... Вот... Конец, конец! Нет города! Нюра, ему душно, городу? О, Нюра, а если оно сюда доплывет? Нет? Не смеет? Слишком высоко ему?

– Не знаю, – сказала Нюра, всматриваясь в облако.

Маргарита опять равнодушно опустила глаза. Веселое солнце бросало темно-золотые искры на ее волосы. Налево, за горами, по-прежнему светло улыбалось счастливое небо.

Чем ближе всползало бледное, мутно-тяжелое облако, тем яснее было, что оно двигалось быстро и упорно, как слепое.

Задрожали сначала между кустами, потом внизу, ближе, выше, везде дымно-прозрачные лапы, беззвучно и легко то

свиваясь в клубки, то развиваясь, мягкое, душевное, оно мгновенно накатило, задавило, налегло – и кругом все пропало, точно его никогда и не было, и мир стал маленький, совсем маленький и низенький, почти для одного человека. Дрожал и струился дымный пар, точно живой, лип, оседал и умирал на всем, чего касался, превращался в воду. Нюра пошла закрыть окна: серые лапы, слепо и трепетно, тихо-тихо, уже тянулись в открытую раму. В комнате было еще душнее. Она вернулась на лужайку.

У Маргариты волосы завились в крупные кольца. Ей было жарко. Давило глаза, которым больно было смотреть сквозь дрожащее тело облака.

Вася присмирел, не пел, сидел у стола... Сердце у него билось от ужаса и счастья. Что будет, что будет! Он ждал с восторгом достойного конца этому страшному приходу.

Пусть оно густеет, пусть давит, пусть задушит... Пусть это случится! Ведь случилось же, что оно пришло, такое бледное, немое и тучное.

Голоса раздавались глухо, точно облако любило свою мягкую тишину. С крыши падали, едва слышно разбиваясь, большие, редкие капли.

– Кто-то едет, – сказал вдруг Вася, уловив тонким ухом тупой звук колес.

– Это генерал, верно, из города, – произнесла Нюра. – Вот попался-то! Еще удивление, что доехали.

Экипаж вдруг показался совсем близко, в двух шагах,

большой и мутный. Лошади казались привидениями, высокие, медленно идущие в гору.

– Посмотрите, с ним еще кто-то, – сказала тихонько Нюра. Она уже привыкла немного к белесоватой мгле.

Рядом с укутанным в плед, угнетенным погодой генералом сидел полный, крупный молодой военный. Он казался еще крупнее сквозь туман. Он был в одном кителе, сидел прямо и молодцевато, фуражка с белым околышем к нему шла. Темные усы лежали немного вверх, обнажая красивый рот, подбородок был мягко раздвоен. Все это, несмотря на мглу, вмиг увидела Маргарита, потому что она невольно встала и сделала несколько шагов к экипажу. Она сразу догадалась, кто этот спутник генерала.

Офицер взглянул на нее дерзко-равнодушными серыми глазами – и тотчас же поклонился, улыбаясь. Его полные, выбритые щеки были мокры от тумана.

Они проехали за дом к крыльцу.

Вася вдруг захохотал.

– Что это? – холодно произнесла Маргарита.

– Офицер какой! В облаке! Мокрый-премокрый, хоть выжми! И толстый какой, в нем пудов восемь есть, право! Облако-то недаром такое тучное накатилося, в облаке-то офицер! С носу чуть не капало. Туман серый, а он за ним такой прешрашный! И смешной.

– Это сын генерала, кавалергард, – произнесла Маргарита, точно про себя.

– Он, кажется, при дворе.

– Кавалергард? При дворе? – спросил Вася и вдруг испуганно задумался: «Как же так? А он над ним смеялся. Не грех ли это?»

Вася не понимал ясно, ни что такое кавалергард, ни что двор. Но эта таинственность казалась ему особенно достойной уважения и даже трепета.

– А вы не утерпели, чутьем угадали, что офицер, на два аршина выскочили, – заметила Нюра Маргарите, собираясь уходить.

Туман становился незаметно реже.

– Да, люблю офицеров, – презрительно и вызывающе ответила Маргарита. – Вы бы лучше Карла Маркса-то унесли, неравно отсыреет.

Через полчаса направо мелькнула голубая полоса, все становилось яснее и дальше, и, наконец, вся долина открылась, чистая, просторная, опять сверкающая под лучами уже низкого солнца. Последние, едва видимые, лапы уползающего плотного тумана скользнули по крыше дома и растаяли. Все было прежнее кругом, только налево стояла непроницаемая белая стена проплывшего облака. Все было такое же, блестящее, красивое, но словно присмирившее, испуганное прошлым. С мокрой крыши еще падали капли; кое-где дрожали они на полуобнаженных сучьях деревьях; мошки умерли; море подернулось легкой пленкой; небо улыбалось робко и бледнело.

Вася заметил в лиловом откосе горы, на уступе, пухлый кусочек ваты. «Детеныша забыло, – подумал Вася со злобой об облаке. Он его ненавидел. – Пришло ни за чем, и глупо ушло, ничего не сделало. Только все испортило и мошек убило».

XVI

Молодой Радунцев оказался очень любезным и ловким, ему не вредила и начинающаяся полнота. Вот ходить пешком он не любил, у него делалось неприятное, тяжелое дыхание. Он жил в Гурзуфе и приехал к отцу лишь на несколько дней.

Шел дождь. Генерал днем явился вниз с сыном, познакомиться его с Андреем Нилычем и барышнями. Николай Константинович был весел, любезен с Вавой, что заставило радостно улыбнуться генерала. Маргарита хмурилась. Впрочем, Николай Константинович был одинаково любезен со всеми, и никто бы не угадал, знает он что-нибудь про отца и Ваву или ни о чем не догадывается. Нюра взглянула на него исподлобья – и он отстранялся от нее, меньше заговаривал, чем с остальными. Маргарита уловила раза два странный, не то испытующий, не то нахальный взор, брошенный на нее украдкой.

«Он, верно, смутно догадывается о чем-нибудь, – подумала она. – Да ему не скажут. И спросит, так не скажут. В четыре дня самому убедиться никак нельзя. А потом он уедет. Ах ты, Господи!»

Генерал и сын его сидели почти рядом, один на диване, другой в кресле. Они были совсем разные, и вдруг неуловимо похожие, во взмахе ресниц, в манере произнести слово; сейчас же вслед за этим различие их казалось более резким.

Оба они были вежливы, светски воспитаны; но то, что в генерале выражалось утонченной изысканностью, церемонными, немного устарелыми, красиво-округлыми манерами – вдруг проскальзывало в сыне офицерской развязностью, и вежливость имела иногда полусуществующий налет наглости. Этого, впрочем, никто не заметил. Даже сам генерал, вероятно, не замечал: он любил сына и всегда был убежден, что между ними ничего нет общего и что так и должно быть. Сын сам по себе, у него своя дорога.

– Скажите, удачный нынче сезон в Гурзуфе? – спрашивал любопытный Андрей Нилыч. – Весело? Большой съезд?

Радунцев улыбнулся.

– Как вам сказать? Кажется, много народу. Есть кое-кто из знакомых, из петербургских. Но я держусь в стороне, избегаю лишнего шума. Тем более, что я лечусь немного...

Лицо Андрея Нилыча выразило непритворное изумление. Он взглянул на круглые, розовые, дрожащие щеки кавалергарда и подумал: «От чего тебе лечиться? И так лопнуть хочешь. Разве что немного...». И тотчас же сказал, не желая из вежливости углублять вопроса о лечении:

– Да, конечно... Так вы говорите, есть все-таки общество?

– И очень милое. Вот Родзенко, из дипломатического корпуса, князь Лунин, потом мадам Баренцева с дочерью...

– Баренцевы... Позвольте, я что-то о них слышал. Это известные петербургские богачи, фабриканты, кажется. И дочка – единственная – больная, мне говорили. Хромая и, кро-

ме того...

– О, хромота ее почти незаметна. Здоровье ее в Гурзуфе очень поправилось. Чрезвычайно милая особа.

Разговор продолжался. Выяснилось, что Радунцев через три дня, в субботу, уезжает обратно.

– Как жаль, как жаль, – проговорил Андрей Нилыч. – Надеюсь, вы еще зайдете к нам? Завтра вечером? Или, чего лучше, в пятницу. В пятницу думал зайти ко мне милейший наш Пшеничка...

– Папаша хотел в пятницу взять меня к баронессе... – усмехаясь, проговорил офицер.

– Я съезжу с Вавой к баронессе и попрошу ее к нам с сестрицей в пятницу, – решил неожиданно воодушевившийся Андрей Нилыч.

Ему вдруг улыбнулась мысль устроить вечеринку, как бывало в Москве.

Маргарита опять уловила взгляд офицера на нее из-под ресниц. Она неизвестно отчего покраснела и подумала: «Надо с ним поговорить. Совершенно необходимо. Иначе он так и уедет, не узнав. Ему надо открыть... Это будет только честно».

И, взглянув на весело улыбающуюся Ваву, на желтенький бантик, который она приколотла сбоку некрасивой прически, – она прибавила мысленно, с неожиданной злобой: «Напрасно распускаешься, матушка. Рано лапки сложила генеральшей быть. Гадость какая!»

Обыкновенно Маргарита даже в уме слагала свои фразы изящно и с вежливостью истинной барышни. Но теперь ей доставляло наслаждение думать грубыми словами. Глаза у нее красиво блестели, и она сама, подняв ресницы, смело взглянула прямо в лицо Радунцеву.

Гости ушли. Андрей Нилыч с увлечением толковал о вечере в пятницу. Вася, который с самого начала притаился в уголке, так и не вышел из своего испуганного недоумения и нерешительности. Он не знал, как ему отнестись к офицеру. С одной стороны двор и кавалергард, с другой стороны он, офицер, точно какой-то ненужный, смешной: и щеки трясутся. Вообще, Вася не очень любил толстых людей. Любил еще в Москве одного дьякона, который был толст, но все-таки Вася каждый раз жалел, что он толст и внутренне со страстью желал, чтобы он похудел.

– Дядя, – спросил он вдруг, перебивая соображения Андрея Нилыча. – Дядя, скажи, а кавалергард, это – самый последний чин, самый высокий или есть еще выше?

– Что? Чин? Кавалергард? – спросил Андрей Нилыч, погруженный в расчеты расходов для вечера и совершенно не слушаая. – Да, да, самый высокий.

Вася вскочил с места и всплеснул руками.

– Самый высокий? Самый последний? Значит, он до конца, до самого что ни на есть конца дошел? О, дядя, как это хорошо! Так чего ж он еще ждет? Куда ж он живет дальше? Какой странный, странный...

– Это невыносимо, – сказала Нюра спокойно. – Замолчи, Вася, ты читать не даешь. Дядя ошибся. Кавалергард не самый высокий чин. И даже совсем не чин.

– Вовсе... не чин?..

Нюра презрительно опустила глаза на страницы. Бедный Вася с полуоткрытым ртом смотрел на нее. Он ничего не понимал и только мучительно чувствовал в себе это непонимание, загадки, вечную серую, глухую путаницу.

XVII

Маргарите до самой пятницы не удалось увидаться с молодым Радунцевым. А так как она знала, что в пятницу и подавно нельзя будет выбрать минуты для серьезного разговора, она совершенно упала духом. Поговорить с Радунцевым, предупредить его, казалось ей уже высоким долгом, неизбежностью. Она несколько дней подряд, утром и вечером, ходила в парк одна, надеясь на случайность. Она действительно встретила Радунцева, но первый раз с отцом, а второй – с отцом и Вавой. Маргарита вспыхнула от досады. Ее глаза опять встретили острый и смущающий взор офицера.

«Ведь понимаешь, понимаешь, – думала она в злобе, – что мне нужно говорить с тобой! Так устрой, помоги!»

Была еще надежда, что Радунцев в пятницу придет первый. Если и с отцом – не беда, можно каким-нибудь ловким маневром отозвать его к роялю.

Но первый пришел Пшеничка. Маргарита взглянула на него и стала темнее ночи. Он точно не заметил взора, весело поздоровался и похвалил ее новое платье, из светлой фланели, которое к ней действительно шло. Нюра тоже принарядилась в какую-то пышную шелковую кофточку и была очень мила с белым, как сливки, лицом, с нежно-розовыми пятнами румянца на щеках. Так иногда под тонкой кожей стоит

неподвижно молодая кровь.

Нюра была в хорошем настроении и даже пошла к Ваве посоветовать ей одеться к лицу. Сама причесала ее, настояла на темно-красном, почти черном, суконном платье и красиво вколола в волосы высокую черную гребенку.

– Что, хорошо так, Нюра? Хорошо? – с детской доверчивостью спрашивала Вава, заглядывая в зеркало, откуда смотрело на нее оживленное, помолодевшее лицо. – А не темно платье, ты думаешь? Понравится ему? – вдруг прибавила она, точно про себя, и покраснела.

– Сын, славный, добрый, правда, Нюра? Сейчас же видно, что добрый... Он мне очень нравится. Что это про него там Пшеничка рассказывает? – проговорила она, прислушиваясь. – Надо пойти.

И они вошли в гостиную, где сидел с Андреем Нилычем первый гость, Пшеничка, и о чем-то длинно разглагольствовал. Маргарита молчала, опустив глаза.

Пшеничка, с обычными прибаутками, уверял, что ненавидит сплетни, от которых в Ялте дышать нельзя, и, как примеры нелепости сначала, а потом незаметно увлекаясь, передавал эти сплетни. Говорил больше про молодого Радунцева. Андрей Нилыч слушал с нескрываемым любопытством.

– Неужели болтают, что он за Баренцевой ухаживает?

– Его на десятке уже женили, не беспокойтесь. Ну есть ли тут человеческий смысл, подумайте?..

Пшеничка обвел общество глазами, как будто действи-

тельно приглашал подумать, и продолжал:

– Баренцеву я знаю: мамаша – купчиха неприличнейшая, чуть у нее после обеда душа с Богом не беседует, а дочка хромая, нога совсем вывороченная, да вдобавок еще какая-то запуганная, что ли, бледнеет все да молчит. Блаженная. Женится ли на ней Радунцев?

– Деньги, может быть... – вздохнул Андрей Нилыч.

– Да что он, беден, что ли? А после папаши-то сколько останется еще? Верить нельзя этаким вздорам...

Маргарита и не поверила; она, впрочем, едва слушала болтовню ненавистного Пшенички. Ей только было ясно, что надо, надо во что бы то ни стало поговорить сегодня с Радунцевым.

Она встала и подошла, неслышно ступая по ковру, к стеклянной двери на балкон. Ночь казалась холодной, но было светло, как днем, только зеленее и мертвее, чем днем, и от длинных, неподвижных теней дышало темной сыростью. Полная, небольшая, голубоватая луна стояла в небе, над парком. Маргарита сжала брови и задумалась.

По своей неодолимой привычке она во второе свидание с молодым Радунцевым не удержалась и примерила мысленно, годился ли бы он ей в мужья; но тотчас же здравый смысл подсказал ей беспощадно: нет, он на тебе никогда не женится. И это ощущение было так бесспорно, что мысль исчезла и больше не возвращалась. Да Маргарита и мало занималась теперь собой, своей судьбой: злоба лишила ее всякого эго-

изма.

Приехала баронесса с сестрой и с двумя собачонками. Раскутываясь, она объявила, что Володя Челищев придет пешком, что он совсем выздоровел и на днях окончательно уезжает.

– Какой холод, какая свежая ночь! – говорила сердито баронесса, усаживаясь и усаживая собачонок. – Я все думаю, как-то наш бедный Константин Павлович? Не дует ли у него наверху? Дует, наверно дует! Бог весть, чем это может кончиться! Он никогда так поздно не оставался на даче! Ах, вот и они!

Радунцевы, отец и сын, входили в комнату. Через несколько минут явился и Володя Челищев. Володя казался после болезни еще более свежим и упругим. У него с молодым Радунцевым мелькало что-то общее: у обоих уши были крепко промыты и волосы плотно выстрижены. Только Радунцев был постарше и потолще, и тело у него на щеках слегка, едва заметно, висело.

Они, видно, встречались раньше, молча, с натянуто-равнодушной улыбкой подали друг другу руки. Володя отошел к роялю.

Баронесса, которая была в дурном настроении, строго допрашивала генерала, дует у него или не дует, и не хотела верить, что не дует. Прибаутки Пшенички как-то не вытанцовывались при молодом Радунцеве, который, впрочем, говорил с ним очень дружественно. Разговор шел не общий, но

живой.

«Господи, – думал Вася. – Какие собаки! Как глядят! Жутко даже. Только не говорят».

Собаки, точно, смотрели на него пристально. Они сидели в одном углу маленького диванчика, в стороне. В другом углу сидел Вася, робкий, умиленно-торжественный, в новом костюмчике. Вечер ему очень нравился. Но глаза собак теперь мешали и мучили его. Собаки не отрывали от него зрачков, иногда только ближняя наскоро оборачивала голову к другой, торопливо облизнувшись, на мгновение прижав уши, словно что-то шептала ей – и опять сейчас же вперялась в Васю. И Вася с тоской думал: «Господи! Какие собаки! И что у них на уме? Чего они на меня?..»

Но он покорился, застыл под взорами, боясь двинуться. Маргарита прошла мимо. Он тихонько дернул ее за платье и посмотрел умоляюще. Он хотел, чтобы она сняла с него чары собачьих взоров. Но она не поняла, рассеяно скользнула взглядом, – потом вдруг лицо ее слегка вспыхнуло и переменяло выражение, точно она сразу что-то сообразила и на что-то решилась.

Она повернулась и быстро вышла из комнаты.

До Васи долетел громкий хохот разошедшегося Пшенички – и с другой стороны отрывистый, быстрый и тихий разговор Нюры и Володи Челищева у рояля. Нюра перелистывала ноты в углу, в тени, и говорила Володе, не глядя на него, так что издали и незаметно было, что они разговаривают:

– Очень трудно... Но чем труднее, тем лучше... Вы увидите, что я человек. Характер ли это, упрямство ли, будет по-моему, будет так, как я решила.

– Вы надеетесь на согласие?..

– Не знаю... Это все равно. Так или иначе. Я уже писала туда...

– Но вы несовершеннолетняя...

– Не беспокойтесь, законы не станут применять. Я знаю характер... Когда вы уезжаете?

– Через полторы недели. Но вы помните все, о чем мы с вами говорили? Ваша личность...

– Я знаю, я поступаю свободно, так, как мне нравится, иду туда, куда идти мне нужно. И никого не делаю за себя ответчиком. Я – человек.

Она наклонилась над нотами. Щеки у нее пылали, и даже маленькое ухо под спустившейся прядью волос порозовело.

– Пишите мне туда же, – проговорил Володя и отошел.

Вася слышал этот разговор и не обратил на него никакого внимания. Он трепетно ждал, когда пойдут чай пить, надеясь, что баронесса возьмет собак. Вот, наконец все встали, генерал подал руку баронессе... Она как будто забыла собак. И собаки не пошли за ней, продолжая пристально и упорно глядеть на Васю.

Вася облился ужасом: он был теперь с ними один в комнате. Неизвестно, чем бы это кончилось, но в эту минуту вошла Маргарита. Она озабоченно взглянула на дверь в столовую и

прямо подошла к Васе. Собаки глухо зарычали, но она этого и не заметила, взяла Васю за руку и потянула его тихонько к окну. Вася смело встал. Чары были нарушены. Собачонки обе сразу спрыгнули с дивана и неслышно побежали в столовую.

– Вася, – зашептала Маргарита, – хотите оказать мне большую, большую услугу? Я вам доверяюсь... Вы можете это сделать...

Вася был немного удивлен, но обещал с готовностью. Он от всей души радовался, что услужит Маргарите, которая только что спасла его от жутких собачьих глаз. «Проклятые собаки! – мелькнуло у Васи в голове. – У других собак приятные глаза, сейчас видишь, о чем они думают, а эти какие-то ненадежные».

– Я сделаю, Маргарита, сделаю, – произнес он радостно. – Что сделать-то?

– Что? Я сейчас объясню.

Она разжала пальцы. В руке у нее была небольшая, длинно сложенная бумажка.

– Видите? Вот записка... Это не моя... Это меня просили, а мне неловко... Словом, это долго объяснять, но необходимо передать ее Николаю Константиновичу... Понимаете?

– Офицеру? Так чего ж? Давайте, я сейчас... Ничего не сказать?

– Ах, постойте!.. Как вы не понимаете? Надо так отдать, чтобы никто не видел. Ни одна, ни единая душа... Поймать

минуту, когда он будет один, или вызвать его, что ли...

Вася оробел. Он вообще боялся офицера и не сказал с ним ни единого слова, а тут вдруг вызывать! Ловить минуту! Отдавать чью-то записку, даже неизвестно чью! Вася тотчас же поверил, что записка не Маргаритина.

– Это секрет, что ли? – спросил он нерешительно.

– Да, да, большой секрет! Очень важный! Голубчик, Вася, не сомневайтесь, устройте это... Ну постойте, вы останьтесь здесь, тут никого нет, – и ждите. Я его как-нибудь сюда вышлю. Вот... ну хоть пелерину свою здесь оставлю...

И она торопливо бросила на кресло темно-красную плюшевую пелерину с капюшоном, которую держала на руке.

– Скажу, что у меня лихорадка. Как он войдет – вы сейчас же к нему – и отдайте. Вот записка.

– А если... он не возьмет? – спросил Вася, в раздумье и страхе глядя на записку.

– Отчего не возьмет? Какие глупости! Скажите ему... Ничего не говорите! Там сказано, от кого!

Маргарита словно с горы катилась. Она и говорить начала почти громко.

Вася остался с запиской в руках, думая и ужасаясь, что будет, если офицер не возьмет записки и если это кто-нибудь подглядит. Она сказала – секрет...

Минуты проходили. Из столовой доносились голоса и смех. Послышалось рычание злой собачонки, опять взрыв смеха и нежные присюсюкивания баронессы. У нее голос

становился другой, когда она обращалась к своей собаке. Вася стал надеяться, что офицер не придет и ничего не будет. Ему стало легче дышаться. И вдруг голоса и смех сразу сделались ярче и громче, но на одно мгновение – и опять потухли. Притворенная дверь глухо стукнула. Вася поднял глаза. На пороге стоял Радунцев, полный и статный, в длинноватом военном сюртуке. Вася увидел бледные, густые шнуры его аксельбантов и зажмурился.

Радунцев сделал два шага вперед, оглядывая комнату. Надо было решаться. Вася тоже шагнул вперед трясущимися ногами и протянул смятую записку:

– Вот... вам... – произнес он глухо.

Офицер взглянул на него, как будто только что его заметил.

– Не берете? – проговорил Вася почти радостно.

Радунцев медленно протянул руку и взял записку. Потом отошел к лампе и развернул ее. Васина робость вдруг исчезла. Но в это короткое, когда Радунцев пробежал записку и небрежно сунул ее в карман, Вася непобедимо и совершенно ясно почувствовал, что во всем этом есть дурное, стыдное. Он мучительно покраснел до глаз, до корней волос. Офицер вышел, не произнеся ни слова, но не забыл захватить лежавшую на кресле пелерину. Вася стоял, как стоял, посреди комнаты, растерянный, приниженный чужим стыдом, которого он даже не понимал, но который давил ему душу.

XVIII

Луна поднялась выше и лила свой беловатый свет почти отвесно на дорожки парка. Лучи ее пронизывали полуоблепившие деревья – и кругом было светло и холодно. Непроницаемые, черные, как уголь, кипарисы стояли неподвижно в сторонке, устремляя в серебряно-синее небо иглы своих вершин. В беседке краснеющие виноградные листья не совсем облетели, и луна сквозь них бросала на круглый стол разнообразные пятна света. Маргарита сидела, облокотившись на стол, почти совсем прикрыв лицо капюшоном своей пелерины. Красный плюш казался теперь совсем черным, только со странными отсветами. Пахло стынущей землей и не умершими, но умирающими листьями.

На звук медленных, тяжеловатых шагов в соседней аллее Маргарита подняла голову. Над обрывом, в чаще, горько и жалко, точно ребенок, заплакала сова. Вероятно, она огорчилась, что было слишком светло.

Радунцев вошел в беседку, поеживаясь. Он был в одном сюртуке, успел захватить только фуражку. Маргарита подняла голову.

– Это вы, наконец? – спросила она негромко.

– Да. Простите, не мог вырваться раньше. И теперь, кажется, этот мальчик видел, как я ушел...

Он сел недалеко от нее на скамью, снял фуражку, поло-

жил ее на стол, где она тотчас же стала темно-узорчатая от лунных теней, и провел рукой по своим коротко остриженным волосам.

Маргарита чувствовала, что нужно говорить, и скорее.

– Я звала вас сюда... – начала она – и остановилась. В горле у нее перехватило. Ее казалось раньше, что сказать эти необходимые вещи – просто и естественно, но теперь она видела, что ей с каждой уходящей минутой говорить труднее, и положение становилось все нелепее.

Но она победила себя, сделав усилие, и начала твердо, может быть, слишком громко:

– Мне нужно сказать вам два слова наедине о деле, касающемся вас, Николай Константинович, – проговорила она. – Я тут не заинтересована лично, но, конечно, заинтересована, как всякий человек, на глазах которого совершается грубый... обман... или, скорее, злоупотребление, или... Словом, вы должны знать, что делает относительно вас семья, в которой я теперь живу. Это мне кажется справедливым, честным. В ваших интересах я просила вас прийти сюда – иначе я говорить с вами не могла.

Радунцев склонил свой плотный стан.

– Я могу только благодарить вас, я не знаю, чем я заслужил такое отношение... к моим интересам...

Маргарите почудилась ирония, едва уловимая, но она, уже не останавливаясь, продолжала:

– Вы не имели времени, может быть, догадаться, а сказать

вам, конечно, не скажут... Дело в том, что отец ваш, старик, подвергается... то есть его ловят, хотят женить на себе. Эта барышня, перезрелая и глупенькая, Варвара Ниловна, старается влюбить его в себя, все лето кокетничает с ним, завлекает... Это целая история. Отец ваш старик, ему льстит, что за ним ухаживают. Он может легко запутаться в этой интриге. Андрей Нилыч... он, кажется, не участвует... Не знаю. Словом, мне кажется, ваш долг, как сына... Не допустить... Предостеречь... Я в это не вхожу. Вы сами знаете, как поступать. Мой внутренний долг был вам открыть глаза.

Она взволнованно умолкла. Вышло как-то не то, не так, как она себе представляла. Станным, непонятным казалось ее вмешательство, и неловким. Прошла минута молчания.

– Еще раз благодарю вас за участие, – сказал очень мягко Николай Константинович. – Я вполне верю в вашу проникаемость, я сам заметил кое-что... Но... я не понимаю, почему вам кажется, что это меня касается?

– Как... не касается?

– Право же, это совсем не мое дело, – с ленивым убеждением проговорил Радунцев. – Это дело отца. Если ему это нравится, если барышня ему нравится, почему бы ему и не жениться? Я не вижу препятствий. Он одинок...

– Но позвольте... – проговорила пораженная Маргарита. – Вы... говорите, что вас не касается... Но даже... если взять вопрос состояния...

Она совсем потерялась и забылась. Радунцев усмехнулся

нагло и добродушно.

– Вы прямые, Маргарита Анатольевна, да и я по натуре откровенен. И вам я даже обязан откровенностью. Видите ли, отец давно выделил мне и сестре наш капитал. Сестра замужем в Париже и ни в чем не нуждается – о, менее всего! У меня состояние тоже прекрасное, а может быть, в недалеком будущем я буду втрое богаче, чем сестра, и вдесятеро, чем отец. Мне его наследства не нужно, оно бы мне ничего не дало. К тому же и завещание его уже сделано и, по соглашению, не в нашу пользу. Зачем? Я не жаден, лишние пустяки меня не прельщают. А если отец, – прибавил он уже с полным ленивым добродушием, – найдет себе в ней любящую жену, если она ему нравится – слава Богу. Зачем мешать? Всякому надо давать жить, пока живется.

– Но ведь это смешно, комично! – почти кричала Маргарита. – Ведь он старик, он не видит, он в глупом положении... Ваш долг...

– Почему в глупом положении? Он еще ничего... И барышня не молода, и, кажется, искренняя... Мой долг, если уж вы о нем заговорили, не мешать чужим удовольствиям. Вы, кажется, иных убеждений придерживаетесь, но у меня доброе сердце от природы, и, право, это выгоднее...

– Значит, конец, – прошептала почти про себя Маргарита.

– Конец? Чему конец? Нашему свиданию? Зачем? Пусть лучше будет начало! Брр, как холодно! А хорошо. Ну неужели мы с вами сошлись здесь, чтобы рассуждать о чужих де-

лах? Что вам до них? Я сегодня целый вечер думал о ваших глазах... Я их увидел прежде вас. Помните, в тумане, вы подошли... Милая, красивая какая...

Он незаметно приблизился и незаметно, точно нечаянно, без всякой резкости, плавным, мягким движением обнял ее, легко опрокинул ее голову к себе на плечо и близко смотрел в ее бледное лицо, похорошевшее под лунными лучами. Это случилось так быстро, так неожиданно и само собою, что Маргарита оцепенела, в самом деле не понимая, что с нею делают. Она бессознательно шептала:

– Что это?.. Нет... нет... нет...

Радунцев еще приблизил свое лицо. В голосе его слышалась нежная настойчивость, он был переливчатый, грудной, похожий на воркованье, какой всегда бывает у сильного, здорового и привычного мужчины, когда он начинает слегка волноваться.

– Милая... Нет? Почему нет? Почему? Почему?..

Прикосновение, легкое, полузаметное, его свежей от вечернего воздуха, выбритой щеки вдруг привело Маргариту в себя. Холод страха и отвращения вдруг пробежал по ее телу. Радунцев ей и не нравился. Внутренний голос насмешливо подсказал ей: а ведь он на тебе ни за что не женится!

Маргарита с силой вырвалась из объятий кавалергарда и вскочила со скамьи.

– Вы с ума сошли... – проговорила она, задыхаясь, не находя никакой фразы, кроме этой, такой обычной. – Кто вам

позволил? Я пришла говорить с вами о деле... Как с порядочным человеком... Я вам доверилась... А вы...

– Ну, полноте, полноте, – возразил Радунцев, хмурясь. – Что за дела! Дела покончили. И какие были дела! Из-за участия к моему состоянию ночью вы мне свидание назначили? Да еще в такую чудную ночь? И с такими глазами? Разве вы не знали, что этими глазами... нельзя... смотреть... безнаказанно...

Он опять охватил ее, на этот раз крепко, властно, сильными и ловкими руками. Но Маргарита больше не потерялась. Несколько мгновений длилась безмолвная борьба, слышалась только тяжесть дыхания. Наконец Маргарита резко вырвалась и отскочила в сторону.

– Какая наглость, – проговорила она полусшепотом, приклоняясь к столбу беседки... – Вы... со мной, как с горничной, как...

Радунцев с каждой секундой становился мрачнее, досада и ярость ослепили его. Он сделал два шага вперед и произнес с откровенной и цельной наглостью:

– А все-таки ты любишь меня немножко, да? Я это знаю. Маргарита вдруг выпрямилась.

Радунцев отступил.

– Николай Константинович, – произнесла она громко, – вы не порядочный человек. Вы ведете себя так, думая, что за меня некому заступиться. Вы ошибаетесь. Я могла бы рассказать эту сцену моему жениху Фортунату Модестовичу

Пшеничке. Я не сделаю этого, жалея вас и не желая впутывать вас ни во что, меня касающееся. Будьте впредь сообразительнее. Опыт вам полезен.

Она ушла, как королева, очень торжественная и немного смешная. Радунцев, оставшись один, скоро опомнился, добродушно расхохотался над собою и над ней и поторопился в дом, где уже садились ужинать.

За ужином пили здоровье жениха и невесты. Маргарита, возвращаясь из парка, поняла, что ее корабли сожжены, что сказанное ее слово, сказанное неожиданно для нее самой, превращалось во что-то существующее, неизбежное, и она уже хотела этого неизбежного, хотела, чтобы все так и было, как она сказала. Ей почти радостно было чувствовать себя не одинокой, точно на того, другого, она складывала половину тяжести от нанесенной ей обиды. Пшеничка радовался, но тревожно; он чувствовал, что что-то случилось, и очень заботился также скрыть свое удивление. Он делал вид, что скрывал до сих пор свое счастье лишь по воле невесты. Андрей Нилыч радовался и тревожился: он не знал, извещен ли отец Маргариты. Вава, генерал и сестра баронессы (которая решительно была в скверном настроении) радовались и поздравляли искренно. Старик Радунцев припомнил даже какой-то очень красивый, тусклый мадригал на случай. Шампанское, по счастью, оказалось, и это вышло очень хорошо, точно вся вечеринка была затеяна с целью объявить Маргариту невестой.

Нюра снисходительно и тонко улыбалась. Она не знала, в чем дело, но многое угадывала. Впрочем, ей было все равно.

Молодой Радунцев подошел поздравить Маргариту и поцеловал ей руку. Вася стоял рядом. Он вспомнил записку, потом свое мучение, потом, как он видел офицера, идущего в парк; перевел глаза на потный лоб Пшенички с торчащими белокурыми вихрами. Вася ничего не понимал, ничего не предполагал; но на душе у него было тошно и под ложечкой нестерпимо сосало. А с соседнего стула на него опять глядели пристально и упорно четыре собачьих глаза.

XIX

– Вставай! Вставай! Чего заспалась? – будила няня Кузьминишна Вава в одно сумрачное ноябрьское утро. – Все уже давно повставали, чай пьют! Уж что деется, глядь-ка!

Вава простонала и открыла глаза. С некоторых пор ей было мучительно трудно и тяжело просыпаться. Впрочем, она скоро привыкла к сознанию и веселела.

– Нездорова, что ли? – спросила няня, открывая занавеску и вглядываясь в бледное лицо Вавы, в беспомощное выражение сжатых губ.

Но при первом луче мутного дня Вава опомнилась, вскочила, села на постели и улыбнулась. Она вспомнила все хорошее и важное, что с ней было и будет. Все кругом милые, хорошие, счастливые! С Константином Павловичем ничего решенного еще нет, то есть словами, но разве все не решено без слов, не слишком ясно? И разве бы могла она жить, дышать, если б было не ясно?

Через несколько дней свадьба Пшенички и Маргариты. Отец Маргариты прислал сначала телеграмму, а потом письмо, где писал, что болен, приехать не может, полагается во всем на Андрея Нилыча, и благословлял дочь. Маргарита должна была венчаться здесь, а после свадьбы они ехали вдвоем к отцу, в Киев. Как ни трудно было Пшеничке вырваться от своих больных на две недели, но он решился это

устроить, основательно рассуждая, что женишься не каждый год, можно побаловаться отпуском и угодить молодой жене.

Вава знала, что, может быть, генералу придется ехать в Москву. Это не Пшеничка, который может жениться в три дня. Маргарита и хотела было затянуть свадьбу – да жених и заикнуться не дал: ему проволочки неудобны. Генерал – другое дело. Что ж, пусть уедет. Они будут переписываться. И до отъезда, конечно, все будет условлено и кончено.

– Я совсем здорова, няня! – весело крикнула Вава, одеваясь. – Что это вы все заладили, больна да больна! И Фортунат Модестович вчера спрашивал, почему я кашляю. А я совсем и не кашляла. Это я очень торопилась из города, на гору нашу одним духом взбежала, так потом я никак отдышаться не могла, все хрипела. Это ведь, ты знаешь, у меня с самого детства.

– Правда, – согласилась няня. – Я тебе всегда говорила, чтоб ты не больно быстро бегала. А ты, как на грех, вон какая скорая: Ну и задохнешься сейчас. И вчера тоже! Нет, чтоб потихоньку.

– Ну, няня, не ворчи. Нянечка, туман-то какой на дворе! – продолжала она, подходя полуодетая к окну. – Совсем осенний. Едва видать красные верхушки деревьев. А облетели как деревья-то! Конец, няня, конец лету!

– Чего ж ты радуешься, глупая? Осенняя пора – последняя пора. Солнышко уходит, листочки желтеют...

– Я не радуюсь, няня, что солнце уходит, я радуюсь, что

оно уходит – и опять придет. Вот я чему радуюсь. Лето было славное, милое, чудное! И осень славная, мне осенью всегда весело, потому что осенью всего больше веришь, что весна придет. А, нянечка, – прибавила она вдруг быстро, перескочив на другие мысли, – как тебе кажется, правда, он очень, очень хороший, сын-то? Добрый, милый, родной такой! Я его сразу полюбила. Если б ты знала, няня, как он на прощанье мне руку поцеловал, в глаза поглядел – и говорит, так выразительно: «Желаю вам счастья». Ей-Богу, так и сказал.

Она подумала и вдруг громко расхохоталась.

– Чего ты? – недовольно спросила няня.

– Как чего? А помнишь, ты мне каркала: «Дети взрослые, вступятся, не позволят, сын придет, брось лучше...» Вот и сын приехал. Да он очень доволен! Думаешь, не понял?

– Понял-то понял, да только ему наплевать. Он вон, говорят, на хромуле, на купеческой дочке женится, семь миллионов берет, так что ему? Очень ему нужно ввязываться. А ты, опять же скажу, хвосты-то больно не распускай. Не дело затеяно, не дело. Сын там не сын, а чего это Катерина-то при нем неотлучно? Генерал-то без нее ни шагу. А она вон как нос поднимает. И в кухне намедни язвила: высоко, мол, ваша барышня летает, как бы не ушиблась, падавши. Да. Меня увидала – замолчала, только нос еще выше подняла и с усмешкой, так, мимо прошествовала. Зазналась тоже. А все, Вавинька, не дело ты, матушка, затеяла. Чует мое сердце, не быть из этого добру.

– Няня! Не каркай ты, Бога ради, не страши ты меня! Ну что тебе? Я его люблю, люблю и вечно буду любить! Ведь это унижение, горничной там или кухарки бояться! Скажу ему, что б он ее прогнал, вот и все.

– Скажи. Так он ее и прогонит. Это еще бабушка надвое говорила. Не стала бы она даром нос задирать. А лучше брось-ка думать. Послушай, какие дела у нас делаются. В столовой баталия идет – не приведи Господи! Нюрка перед отцом смелая, бесстыдная такая. И родятся же нынешние! Прямо страм.

– А что такое? – с любопытством спросила Варвара Ниловна. Она торопливо причесывала волосы.

– В Петербург, слышь, хочет ехать, – таинственно сказала няня. – У этой верченой Любове Карповны жить будет и на каких-то там курсах учиться. Знаем мы ученье-то это!

А не кто, как этот студентик ее сбил, читали они все в гул да разговоры этакие такие разговаривали. Девка-то и за-козлила. Постегать бы ее маленько родительской властью, небось бы унялась. Одна, в Петербург! Фасоны, нечего сказать.

– Няня, а что же, Андрюша не соглашается?

– А по-твоему, согласиться ему, что ли? И отца не жалеет, бешеная, ведь болен отец-то. В гроб готова уложить, а по-своему сделать.

Няня долго еще ворчала, но Вава ее не слушала. Она была уже готова и быстро пошла в столовую. «Баталия» там еще

продолжалась. В соседней комнате из угла в угол ходил Вась, зажав пальцами уши и беспорядочно напевая что-то про себя. Он не мог выносить никаких сцен, никаких серьезных криков и грубых слов. Теперь он ушел бы в сад, но на дворе стоял мокрый туман.

Не боящаяся сцен Маргарита сидела в столовой в углу и безучастно смотрела на спорящих. После дней волнения ею овладела оцепенелость, безумная покорность и равнодушие к судьбе и других и своей собственной.

Андрей Нилыч в утреннем халате, с красным, разозленным лицом, ероша белокурую, с проседью, бороду, бегал по комнате.

– Я тебе покажу, я тебе покажу!.. – кричал он. – Дряннь девчонка! С отцом разговаривать! Да что у тебя шуры-муры, что ли, со студентом затеяны? К нему, что ли, тебя тянет? Да я тебя... Я тебя запру, наконец!

Он совсем забывался. Нюра, которая уже много кричала, дрожа от злобы и ненависти, стояла у рояля и старалась сложить губы в презрительную усмешку.

– Вы «Домострой» купите, там в подробностях сказано, как нужно запирать, – проговорила она. – А грязных вещей я вас попрошу не говорить, этого я никому не позволю, будь он хоть разотец. Я начала с вами разговор, надеясь, что вы уважаете чужую личность, а у вас взгляды рабовладельческие, и кричите вы и ругаетесь, как городской. Что вы мне сделали? Чем я вам обязана? Что на свет меня родили? Подумаешь,

одолжение! Я вас об этом не просила. Почему я не свободна жить там и так, как мне хочется? Денег я ваших не хочу, отдайте то, что мне принадлежит после мамы. Мне восемнадцатый год. В семнадцать лет уже опекунов снимают.

– Дрянь! Дрянь! – задыхаясь, кричал Андрей Нилыч. Он не находил больше никаких слов и не мог говорить. – Я тебе покажу! Ты у меня запоешь! А письмо этой твоей прелестной тетеньке – вот! вот! Чтобы она молодых девушек не смущала!

Он схватил лежащее на столе письмо Любовь Карповны, где она изъявляла согласие принять к себе Нюру на время пребывания на фельдшерских курсах, и с яростью изорвал его в клочки.

Нюра дернула плечами.

– Что ж вы этим достигли? И что хотите доказать? Если вашу глубокую некультурность-то она слишком ясна. А меня вы рабой не сделаете. Разве что к помощи закона обратитесь, да и то со взятками, иначе не сделают – и в исправительный дом посадите. Красиво будет! Слух в Москве: Андрей Нилыч Сайменов дочь истязает за то, что она учиться хочет... Главное – в духе времени. Да на вас пальцами станут указывать...

– Андрюша, – робко проговорила молчавшая до сих пор Варвара Ниловна, очень испуганная. – Ты не волнуйся так. Почему не подумать? Может, и можно как-нибудь устроить. Нюра подождет. И какая ты, право, Нюра! Зачем сердиться?

Лучше просто поговорить...

Но примирительные слова бедной Вавы остались без успеха. Андрей Нилыч уже ничего не мог слышать. Он крикнул:
– Молчать!

И, боясь, что кто-нибудь его не послушается и заговорит, он тотчас же прибавил:

– Конец! Чтобы я об этой истории больше не слышал! В гроб меня уложить хотят, что ли? Больному человеку этикие штучки подпускают! Ну, да пока еще жив; пока еще глаза землей не засыпали. Скоро, матушка, скоро! Подожди, успешь!

– Перестаньте, пожалуйста, папа, – произнесла Нюра спокойнее, овладев собой. – Все это совершенно лишнее. Если вам угодно – мы на время прервем разговор. Извините, если я была резка. Я знаю, вы не допустите всех этих ужасных вещей, о которых так легко говорится. Но я предупреждаю вас, что я намерения моего не оставлю и слову моему не изменю.

Андрей Нилыч хотел что-то возразить – но не успел, потому что Нюра вышла из комнаты. Она слишком долго злилась, да еще сдерживалась и теперь чувствовала, что ей хочется плакать, и даже не плакать – реветь, как режут маленькие дети от злости и возмущения. И она громко хлопнула дверью своей спальни.

Все мгновенно стихло. Андрей Нилыч еще раз прошелся по комнате, сказав несколько отрывистых слов про себя, – и тоже ушел. Няня Кузьминишна, стараясь не стучать, уби-

рала чайную посуду. Маргарита зевнула, бесцельно глядя в окно. Только Вася все так же беспокойно шагал по соседней комнате с закрытыми ушами, боясь поднять глаза и не зная, что сцена кончилась.

Варвара Ниловна подошла к нему и тихонько взяла за руки.

– Чего ты? Никто уж больше не спорит, – ласково сказала она, угадывая его беспокойство. – Хочешь, пойдем в парк? Вон туман как поднялся, солнце светит.

Вася встрепенулся, улыбнулся и подошел к стеклянной двери. Туман, точно, поднялся, растаял, оставив на траве и на золотых листьях влажные следы. Небо голубело, чистое, нежное, точно умытое.

– Мне все равно нужно сейчас в парк идти, – продолжала Вава. – Константин Павлович, верно, уж там. Эти рабочие ничего не делают! До сих пор кончить не могут!

– Да вон он, из парка идет и с Гитаном! – сказал Вася, увидев генерала. – Смотри, Вава, за ним извозчик приехал. Верно, собирается куда-нибудь.

Вава беспокойно прищурила свои немного близорукие глаза. Ей хотелось пойти навстречу генералу, но она почему-то не решилась.

– Сюда идет! – произнес Вася. – Видишь, к балкону направляется.

Вава распахнула дверь. Острая свежесть осеннего ясного дня дохнула ей в лицо.

– А я к вам с предложением, – сказал генерал, устало дыша и немного тяжелою всходя на ступени балкона. Он улыбался и постукивал своей толстой тростью. Длинное, теплое, немного старомодное пальто красиво сидело на его высокой фигуре. Гитан, немного прихрамывая, покорно следовал за ним. – Мне необходимо в город поехать, у милейшего нашего Фортуната Модестовича буду, потом еще нужно в один дом завернуть... Вы, кажется, собирались сегодня в город. Позвольте вас подвезти?

– Мне особенно ничего не нужно, но мы собирались гулять, – весело откликнулась Вава. – Хочешь, поедем, Вася? К Пшеничке заедем, а оттуда пешком вернемся. Погода чудесная! Я сию минуту буду готова!

Генерал снял серую шляпу, широкополую, очень изящную, и вошел в комнату. Через секунду из правой двери вышла Нюра, с лицом более обыкновенного оживленным. Она тоже хотела ехать в город и к Фортунату Модестовичу. У нее страшная головная боль. Фортунат Модестович обещал ей какие-то порошки, но он все забывает, вот и сегодня вечером придет и, наверно, забудет. А тут она у него кстати и возьмет.

Андрей Нилыч вышел приодетый, очень любезный и веселый.

– Значит, я вдвоем с Маргаритой буду завтракать? Уж вы, наверное, к завтраку не воротитесь. Маргарита, что просите передать жениху?

– Ничего, – сказала она апатично. И прибавила для при-

личия: – Ведь он будет сегодня вечером.

XX

Дорогой говорил только один генерал да Вава. Нюра молчала, о чем-то думая. Вася тоже соображал и глядел по сторонам, замечая тихие желтые деревья, такие желтые, что, казалось, золотой свет идет от них, а вверху, между ветвями, небо такое яркое, что оно уже не голубое, а лиловое рядом с золотым сверканьем полупрозрачных листьев. Пшеничкин сад не поредел и остался неизменным зеленым и кудрявым. Пшеничка любил надежные растения, которые не засыпают на зиму. Сад его изобиловал кипарисами всяких видов, кактусами и соснами с длинными мягкими иглами, похожими на кипарисы. И осень в его саду была незаметна.

– Пожалуйте, пожалуйста, – весело и предупредительно кричал Пшеничка, встречая гостей.

Он был уже не в парусинном, но в каком-то похожем на парусинный балахоне. – Пожалуйте вот сюда, на солнышко! Тут у меня маленький уголок лета. И защищено, и видите – какая зелень темная? Не холодно? Не угодно ли в комнаты?

– Нет, нет, не беспокойтесь, дорогой Фортунат Модестович, мы здесь останемся, – говорил генерал, усаживаясь в покойное кресло на теплом солнце, за кипарисной стеной. – Я ведь на несколько минут...

– А? а? ведь хорошо здесь? – заливаясь смехом, говорил Пшеничка. – Июль! чистый июль! Кто скажет, что ноябрь на

дворе? У меня, знаете, тут прежде липы росли. Я их срубил. Только тоску наводили. Всю зиму торчат прутьями, а как с осени начнут желтеть да осыпаться – так прямо меланхолию способны навести. Нет, хоть и возня, а я уж предпочитаю этикие более тропические растения. Целесообразнее.

Вася посмотрел на небо, которое вдруг потускнело около точно запылившихся кипарисов, и сказал:

– А что Агния Николаевна? Выздоровливает?

Он не любил Агнию Николаевну, ему хотелось, чтобы она скорее, как можно скорее, выздоровела, уехала в Москву и занялась своим делом, чем ей там надо и что ей больше подходит.

– Представьте, Агнии Николаевне гораздо лучше! – заявил Пшеничка. – Она, конечно, боится и себе в этом признаться, не верит, но улучшение несомненное! Несомненное! А вот что это вы, барышня, бледноваты сегодня? – произнес он, привычными и зоркими докторскими глазами взглядыаясь в лицо Варвары Ниловны. – Как себя чувствуете, ничего?

– О, отлично! – сказала Вава. – Я ведь всегда здорова. А воздух меня подбодрил.

Она была особенно весела сегодня. Смеялась, шутила, перекидывалась ласковыми колкостями с генералом, глядя на него своими красивыми и преданными глазами.

Генерал скоро уехал, а барышень и Васю Пшеничка оставил завтракать. В доме у него немножко подновляли к сва-

дье, дети были отправлены к знакомым – двое меньших. Старший, Гриша, уезжал завтра в Москву. Отец его отправлял с бонной до Севастополя, где ждала тетка.

Мальчику было около десяти лет. Он казался очень тихим и серьезным. С ним говорил Вася, который радовался, что он старший.

К концу завтрака, когда расшалившийся Пшеничка заставлял барышень пить за его здоровье и здоровье отсутствующей Маргариты херес, вдруг пришел Володя Челищев.

Он был встречен восторженными кликами Пшенички, но имел какой-то непривычно смущенный вид, с неровной развязностью. Промытые, крепкие уши его горели.

Он пришел проститься. Он уезжает послезавтра, а может быть, и завтра. Нюра не дала себе труда притвориться удивленной. Она не стала бы и скрывать, если б ее спросили, что она утром послала Володе коротенькую записку, где говорила, что им нужно видеться и что она пойдет к Пшеничке. Если б не представился случай – она пошла бы одна.

Володя немного смущался, немного злился, а немного был и доволен. Бесспорное и совершенное влияние, которое он имел на душу этой молоденькой девушки без его воли, льстило ему; на мысли, что она любит его, он не останавливался и не хотел останавливаться. Он любил видеть тут действие своей чисто нравственной, умственной силы. После того неожиданного поцелуя под ивой, в темноте, он еще раза два поцеловал ее, так же нечаянно и так же молча, как и то-

гда. И думая об этих поцелуях, он считал их полубратскими, случайными. Впрочем, девочка ему нравилась, он жалел, что она не живет в Петербурге. Но он боялся трагедий, всяких мучительно сложных родственных и семейных историй. Он поощрял Нюру бороться с отцом, но сам в это не входил и очень старался остаться в стороне.

Когда после завтрака все опять вышли в сад, Пшеничка с Вавой и детьми отправились вперед, Нюра намеренно отстала.

– Я хотела сказать вам, – произнесла она негромко, обращаясь к Челищеву, – чтобы вы не приходили к нам перед отъездом. Отец предубежден против вас. У меня был серьезный разговор. На согласие трудно надеяться. Но, поверите ли? Чем труднее борьба, чем больше препятствий – тем больше у меня энергии, силы прямо растут! Это меня поднимает! И теперь я уже не сомневаюсь, что достигну своей конечной цели.

– Но, Надежда Андреевна... Не слишком ли вы горячо беретесь за дело? Нужно многое взять в расчет... И может быть, если б устраивать исподволь, действовать медленно, но верно...

Он говорил и примирительно, и слегка рассеяно. Он не любил трагедий, да и скорый отъезд, ощущение этого отъезда делало его нездешним, полупетербургским, точно он уже начал уезжать.

Нюра посмотрела на него почти свысока.

– То, что я решила, я сделаю без проволочек и прямо, – сказала она несколько напыщенно. Из-под ее важных слов часто мелькала детскость и действительно непобедимое ребяческое упрямство. – Ну, словом, это решено. Вы мне сюда не пишите. Это вопрос нескольких дней. Где я буду жить в Петербурге – вы знаете. Впрочем, тотчас после приезда я извещу вас – на университет. Еще раз благодарю за то, что указали мне путь и цель. Нужно много сил, но они у меня есть.

– Желаю вам успеха и жду известий, – с чувством произнес Володя и пожал ей руку. Он подумал о своем влиянии на эту молодую душу, и ему не хотелось потерять его.

Громкая болтовня Пшенички со взвизгиваниями, говор детей и веселый смех Вавы раздавались вдали, за кипарисами, на дорожке, которая огибала сад и возвращалась к дому. Но вдруг Нюре показалось, что там началась беспорядочная суматоха. Пшеничка бросился вперед, сверкнув между ветвями елей своим белесоватым пальто. Испуганный Васин голос крикнул:

– Ай! что это?

Нюра и Челищев ускорили шаг. В конце прямой дорожки у самого дома, на деревянной скамейке со спинкой сидела Варвара Ниловна. Пшеничка наклонился над ней. Вася крепко держал за руку маленького Гришу и часто мигающими, недоуменными и скорбными глазами смотрел вперед.

– Что случилось, Фортунат Модестович? – спросила Нюра

быстро.

Пшеничка выпрямился.

– Ничего, ничего. С Варварой Ниловой маленькая индиспозиция. Вздумала барышня вот с молодыми кавалерами наперегонки бежать. А бегать-то нам, кажется, совсем не годится. Ну сделалось дурно.

– Что, Вава? Не лучше тебе? – сказала Нюра, наклоняясь к ней.

Вава была очень бледна беловатой бледностью, без желтизны. Она еще слабо улыбнулась и проговорила:

– Нет... Ничего... Теперь прошло.

Дурнота ее в самом деле проходила, только дыханье оставалось свистящим и трудным.

– Знаете, барышня милая, – решительно сказал Пшеничка. – Давно я замечаю, что вы не так себя ведете, как следует. Охота вам в обмороки-то падать! Вас подлечить, пожалуй, нужно. Я на вас, как на родную, смотрю (никак не могу себе представить, что вы все Маргарите Анатольевне чужие) и по родственному чувству этого оставить так не могу. Давайте-ка я вас послушаю да постукаю, пойдемте ко мне, чтобы времени не терять. А? Что скажете?

Вава ненавидела лечиться и была уверена в своем здоровье, но теперь она, после припадка странного удушья, чувствовала себя слабой, покорной и не могла бы ничему противиться. Пшеничка с шутовой галантностью падал ей руку, и они медленно ушли.

– Что это еще такое, – произнесла Нюра и досадливо, и озабоченно, поднимая на Челищева вопросительный взгляд. – Вы думаете, что она больна? Всегда такая здоровая была...

Челищев с видом недоумения пожал плечами:

– Не знаю. На вид Варвара Ниловна здорова. Иногда мне казалось, что у нее бледность немного странная...

– Нет, это ничего. Но надо знать, что скажет Фортунат Мостович.

Они медленно пошли опять по прямой дорожке сада и заговорили тихонько.

Вася серьезно и молча сидел на скамейке, держа за руку не менее серьезного Гришу. Они оба чего-то вдруг испугались и теперь ждали. Над кипарисами, туями, елями и кактусами лиловело чистое, но полинялое осеннее небо. На дорожке справа показалась укутанная до бессмыслия Агния Николаевна в кресле на колесах. Кресло сзади подталкивал лакей с глупым лицом, рядом шла тетка. Пока Агния Николаевна доехала до мальчиков, вернулись Пшеничка и Вава. Нюра, сопровождаемая Челищевым, тоже приблизилась. Вава имела виноватый вид. Что-то детское было в ее темных, добрых глазах.

– Ничего, ничего, – засмеялся Пшеничка на вопрос Нюры. – Как я и думал. Сердце увлекающееся. Подлечиться непременно нужно. Мы уж с Варварой Ниловной условились. Как вернусь я дней через десять из моего свадебного

путешествия (еще пустит ли меня Агния Николаевна, вон как свирепо смотрит!), так она ко мне утречком в известный денек и станет жаловать. Мы такое лечение соорудим – просто во сне не выдумать! А пока на горки лазать остерегаться, наперегонки не бегать. Ох уж эти мне девицы! Расстроят сердце, а потом с ним и возись!

Агния Николаевна очень заинтересовалась неожиданным приключением, выразила Ваве самое горячее сочувствие, поговорила вообще о болезнях сердца, сказав, что это вещь «очень, очень серьезная... конечно, у кого в сильной степени».

– А вы такая цветущая, такая сильная! У вас, конечно, это форма самая легкая...

– Да я и не сказал, что у Варвары Ниловны болезнь сердца, – вдруг оборвал ее Пшеничка. – От многих причин бывает беспокойное сердце. Органических недостатков я особенных не усмотрел. Режим, режим – и правильное лечение! И я ручаюсь, что все будет превосходно.

На вопрос Нюры о ее собственном здоровье Агния Николаевна вздохнула, сморщилась и тягуче проговорила:

– Ах, уж и не знаю... Все то же... Боли, кашель... Все такое же положение...

Но невольная, счастливая улыбка кривила ей губы, как она ее ни старалась скрыть: ей было лучше, но она не хотела этого произносить громко из суеверного страха.

Пшеничка настоял, чтобы домой пешком не возвраща-

лись, а взяли на гору извозчика. Челищев проводил их до самого дома, но в дом не вошел. Они с Нюрой мало говорили дорогой, только прощаясь он крепко сжал ее руку и посмотрел ей выразительно в глаза. Этот взгляд можно было прочесть как угодно – и вместе с тем он ничем не связывал Володю. Ему стало грустно, захотелось, чтобы она действительно приехала. Он даже думал шепнуть ей украдкой: «Будьте же тверды!» или: «Мужайтесь!», но Нюра на его взор ответила таким длинным и глубоким взглядом, что он почувствовал, что этого слова даже и не надо. Вася, все время молчавший, молча простился и со студентом. Когда он от въезда в ограду отправился назад на том же извозчике, Вася обернулся и посмотрел ему вслед, на розовую шею под короткими волосами, прижатыми фуражкой, на отстающие крепкие и прозрачные уши.

– Отъезжающему надо плюнуть вслед, тогда он вернется, это есть примета, – равнодушно и ни к кому не обращаясь сказала Варвара Ниловна.

Вася быстро обернулся, точно не желая потерять след студента, посмотрел, подумал... и не плюнул.

XXI

Варвара Ниловна просила было дома не рассказывать о ее дурноте и о словах Пшенички (ей как-то стыдным и не привычным казалось говорить о своей болезни), но Нюра тотчас же рассказала, не придавая делу большого значения. Андрей Нилыч не поверил, как и сама Варвара Ниловна, посмеялся вместе с ней излишнему усердию Пшенички. Пришел генерал, рассказали и ему, и он не поверил.

– Что вы, что вы! Такая цветущая, сильная, живая!.. У нашего милейшего Фортуната Модестовича есть слабость всех непременно лечить и преувеличивать состояние здоровья. Варвара Ниловна нервная, впечатлительная – это бесспорно... Но я решительно не могу думать, глядя на нее, что здоровье ее грозит каким-нибудь расстройством.

– Вы очень пополнили последнее время, Варвара Ниловна, – сказала Маргарита равнодушно.

Бедной Ваве было стыдно, что говорят столько о ее болезни, которой даже и не оказывается. Она покраснела и оправдывалась, уверяя, что и сама она считает себя здоровой и нисколько не верит Пшеничке.

Выдался свежий, почти зимний, но ясный день. Вава с утра была в парке с генералом. Там кончали и все не могли кончить работы. Генерал в теплом пальто ходил не так бодро, но все-таки наблюдал за всем сам. Неизменный, прихра-

мывающий Гитан с полуопущенным хвостом следовал за ними, как тень.

– Вы совсем легко одеты, – сказал генерал Ваве с оттенком заботливости. – Это черное кружево очень красиво, но вы не простудитесь?

Вава поправила шарф на голове и весело произнесла:

– О, нет! Я ведь никогда не простуживаюсь! И мне совсем тепло. Видите, солнце!

Низкое солнце между поредевшими деревьями золотило песок и упавшие листья на дорожке.

– Какое теперь солнце! Холодное, осеннее, печальное...

– Печальное? Вам осень кажется печальной? А я ее люблю. Так делается чисто, просторно, светло... И жалко даже, что кипарисы кудрявые. Нет, осень это очень хорошо. Только вот одно... – прибавила она вдруг тише, дрогнувшим голосом. – Вот вы уедете...

Они очень медленно, сопровождаемые Гитаном, шли по совсем светлой теперь аллее с деревянными переплетами, где летом вился виноград.

Радунцев вздохнул искренно, немного старчески.

– Да, надо ехать скоро... Нельзя... А мне не хочется уезжать... от вас. Я так привык, мне вас будет не хватать. Вашего смеха, вашего голоса, вашей бодрости... И вот этих ручек маленьких...

Он взял ее свободной рукой за руку и очень медленно поднес ее к губам.

Глаза Вавы наполнились слезами, но она улыбалась.

– Ну что ж... – проговорила она. – Если надо, так ведь уж ничего не поделаешь. Но вы вернетесь, ведь это недолго... Не правда ли?

– Зима так пролетит, что и не заметим, – сказал генерал. – Время удивительно быстро проходит. Я верить не хочу, что лето прошло, как несколько дней! Вы мне будете писать – да, дорогая? Скажите, да? Утешите меня?

– Я для вас сделаю все, что вы захотите, – произнесла Вава, продолжая улыбаться сквозь слезы. – Я... вы не знаете, какая я. Если мне кто-нибудь кажется... настоящим, совершенным... вот как вы... я тогда на все готова. И остальные уже для меня не существуют, и мир не существует. Я, конечно... я очень много требую от человека, но зато я все для него... все.

– Милая! – тихо проговорил растроганный генерал. – Вы хорошая, цельная... Верьте, эти месяцы пролетят... Я вернусь... Пишите мне.

Вава была счастлива. Счастье, уже не такое острое, как в первые недели, потому что она в нем меньше сомневалась, но все-таки очень большое счастье. Ей казалось, что в нем вся ее жизнь, и эта жизнь зависит от существования счастья.

Генералу тоже было тепло и гордо. Приятная грусть от осени и скорой разлуки не мешали чувству. Пальто грело его, Вава незаметно, опираясь на него, поддерживала его, осеннее солнце не резало глаза, ноги не болели. Генералу

нравилось жить, и он сам себе нравился давно не приходившим, забытым чувством, которое было совсем утонуло в тихих, однообразных, последних годах жизни.

Они прошли еще немного, вернулись опять ко входу, к рабочим. Солнце село, поднялся резкий ветер. Он дул в ноги, взметая с дорожки желтые, влажные листья. Синяя, далекая, холодная туча протянулась на западе, затемняя вечернюю зарю. Ветер оледенил вдруг старое тело генерала. Он тяжело опустился на руку Вавы. Кости заныли, в плече закололо. Он подумал, что наверху у него дует из окна, и поморщился. Рабочие сделали мало. Он вдруг стал кричать на них и сердиться, воображая невольно, что нельзя уехать, пока работы не окончатся, а у него дует. Он совсем расстроился и ворчал, идя домой. Вава попробовала успокоить его, но он не слушал и продолжал ворчать и жаловаться, вдруг раскапризничавшись, покорный своему усталому телу, как ребенок, забыв недавнее чувство бодрости и тепла.

Впрочем, перед самым домом он опять немного успокоился, поцеловал руку Вавы и обещал к вечеру прислать альбом фотографий, о котором говорил раньше.

Вава почти не заметила внезапного расстройтва генерала. Да и разве это важно? Важно то, что он сказал ей в виноградной аллее, его взгляд, его просьба писать, его обещанье вернуться. Он любит ее. И будет большое, полное счастье, жизнь с ним. И это единственно важно и необходимо.

Ее спокойная веселость не нарушалась в этот день.

Вечером пришел Пшеничка. У Андрея Нилыча немного болела голова, он сказал, что пойдет к себе, что ему в столовой душно, и предложил Пшеничке сыграть с ним в шахматы, в его комнате. Пшеничка предпочел бы посидеть с невестой, – но отказаться было неловко, и он ушел к Андрею Нилычу, внутренне решившись как можно скорее проиграть и вернуться.

В столовой, под лампой, остались только барышни и Вася. Вася тщательно срисовывал с какой-то гравюры ангела, делая ему ровные и ясные перья на крыльях, и низко наклонял голову вбок, когда затенял ангелу щеку. Одежда ангела, ниже скрытых ног, облачком завивалась кверху – это была уже Васина фантазия.

Маргарита, в окаменевшей позе, сидела над чашкой чаю: она даже не радовалась отсутствию жениха. Нюра и Вава тоже сидели без дела, без книг; у всех трех были свои мысли, различные и заботливые. Ветер, который усилился к вечеру, тонко выл порою и стучал рамой окна.

Никто не слышал шагов, и Вава вздрогнула, когда в открытых дверях темной передней показалась фигура Катерины. Сухое лицо ее с вялыми щеками было обрамлено, как всегда, черненькой кружевной косынкой, бледные губы под большим, острым носом, – крепко сжаты.

– Генерал изволили прислать, – произнесла она, протягивая альбом с фотографиями и карточку, на которой стояло несколько слов.

Вава взяла альбом, взглянула на карточку.

– Скажите, что я очень благодарю, – проговорила Вава, немного робким голосом, не глядя на Катерину. Не думая об этом – она боялась ее стальных, серых глазок, которые смотрели пристально и злобно.

– Ответа не будет? – спросила Катерина.

Вава опять скользнула взором.

– Скажите, что очень, очень благодарю.

– Больше ничего не прикажете? Потому что если ответ писать станете, то мне дожидаться нет времени. Генерал очень дурно себя чувствуют. Очень расстроились. Да.

Голос ее вдруг стал выше и пронзительнее.

– И не понимаю я, как это вам охота расстраивать генерала. Им всякое расстройство во вред, они человек больной. Вы их расстраиваете, а после этого они больны. Вы им нынче говорили, что рабочие в саду не работают, что мало сделали. Вы этого не можете понимать, много ли, мало ли они сделали, а генерал верят и расстраиваются. Если не знать, то лучше и не говорить.

В неожиданной речи Катерины было столько дерзкой злобы, что Маргарита и Нюра с удивлением, не поняв, что делается, подняли глаза. Вава тоже не понимала, она чувствовала, что эта женщина хочет ее оскорбить и, может быть, знает за собой право ее оскорблять. Она хотела крикнуть, ответить, – и не могла: в горле у нее сдавило и не было звука. Катерина совсем вышла из темной передней и на два шага

приблизилась к Ваве.

– Если генерала все будут расстраивать, не надолго их хватит, – продолжала она с неизъяснимым презрением и ликующей злобностью. Губы у нее были уже не бледные, а лиловые. – Их беречь нужно, они в уходе нуждаются, ихнее дело больное, они к таким вещам да к таким словам не привыкли и со стороны личностей разных посторонних расстраивать их очень даже неблагородно, и я это всегда могу сказать и предупредить, потому что я отлично хорошо все понимаю. Может, кому и интерес есть их расстраивать, а однако, им не удастся, и только напрасное беспокойство.

Это было опять так неожиданно и невероятно, что даже и Маргарита с Нюрой онемели. Вася поднял голову от ангела, глядел в ужасе, содрогаясь и приготовившись зажать уши. Катерина и не ожидала ответа. Она постояла несколько мгновений, обвела окружающих торжественно дерзким взором, который бывает у старых и злых женщин после обеда, – и вышла, не поклонившись, бормоча про себя последние, еле внятные, слова.

Через полминуты опомнилась Нюра. Она покраснела, не понимая, как она могла так растеряться и не ответить кухарке, не выгнать ее. Это было не похоже на Нюру. Но слишком уж сцена произошла неожиданно и неловко.

– Чудесно! – проговорила она. – Радуйся, Вава! При хороших сценах ты нас заставляешь присутствовать! До чего ты себя довела! Какая мерзость!

Вава поднялась со стула. Она была очень бледна желтой бледностью, и убита, и растеряна, как дитя.

– Это... я не знаю, Нюра... Это она с ума сошла... Зазналась... Я не оставлю. Я сейчас ему напишу. Он не подозревает. Он ее выгонит сейчас же, если узнает...

И вдруг крикнула раздражительно и отчаянно:

– Да, да! выгонит! Я не могу. Я ее видеть больше не могу... Я ее знать около него не могу! Это гадость, гадость! Он ей доверяет, он не знает. Руки дрожат у меня, да все равно пойду надо сейчас же...

Она бросилась из комнаты. В голосе, которым она произносила последние слова, был почти истерический, непривычный для нее крик.

Пшеничка, кончивший партию, вошел в столовую.

– Что случилось? – спросил он.

Маргарита, вдруг оживившаяся, с блестящими глазами и с усмешечкой стала передавать Пшеничке, чуть заметно преувеличивая, подробности нежданной сцены.

Пшеничка нахмурился.

– А где же Варвара Ниловна?

– Пошла писать письмо генералу с просьбой или, вернее, с требованием, прогнать Катерину, не дожидаясь утра, – с той же усмешечкой подхватила Маргарита. – Признаюсь, мы окаменели! Получила барышня нотацию! Играй, да не заигрывайся! Прогуливайся с генералом, да лишнего не болтай, а иначе реприманд. Ай да Катерина! Нет, кто бы мог этого

ожидать! Мы и не знали, что у генерала – телохранительница! Она его в обиду не даст, от всякой Варвары Ниловны защитит. Генералу с ней тепло. И покойно, как за каменной стеной!

Она захохотала.

Пшеничка сильнее нахмурился.

– История! И меня-то не случилось. Она при мне бы не посмела. Вы говорите, письмо пишет Варвара Ниловна? Напрасно. Зачем? Сгоряча... Потом лучше бы ему сказать, не нарочно. Расстроится только барышня. А ей это вредно.

Варвара Ниловна вернулась. Она была по-прежнему бледна, и руки у нее дрожали. Она уже написала письмо, была говорлива и резка. Возмущалась, повторяла одни и те же слова, говорила, что она не понимает, что это ошибка, что все объяснится, что, конечно, генералу будет очень неприятно узнать, но что делать нечего, и она ему уж написала.

– Напрасно, напрасно, барышня, – говорил Пшеничка. – Лучше бы ему это исподволь рассказать. Баба шальная, дерзкая – черт с ней, в сущности! Зазнаются они и дерзят. Крикнуть бы на нее. Да, история!

Варвара Ниловна продолжала говорить и защищать генерала.

– Нет, пусть он знает, как все случилось. Это невозможно!

От генерала принесли ответ – уже не Катерина, а разбуженный Ян, которого посылали с письмом. Вава быстро разорвала конверт и начала читать вслух, забывшись.

Генерал писал как-то странно. Немного шутивно, немного успокаивающе, просил не сердиться и в заключение обещал «пожурить свою Катерину».

– Ведь говорил я, что это идиотская история! – вскрикнул Пшеничка. – Дайте воды скорее!

Он быстро встал. Ваве было дурно. Она еще больше побледнела, вместо глаз темнели два широких пятна. Через две минуты она пришла в себя.

– Плюньте вы, ей-Богу, Варвара Ниловна, на эту мерзость, – успокоительно и примиряюще сказал Пшеничка. – Охота вам себя терзать. Из-за кухарки психопатической и наглой здоровья лишаться.

Но Вава посмотрела на него и улыбнулась.

– Да я ничего, Фортунат Модестович. Конечно, пусть! Вы не сердитесь, что я вас напугала. Мне лучше. Мне теперь совсем хорошо. Это, в самом деле, какая-то дурацкая история. Право, я не огорчаюсь.

Она опять искренно улыбнулась. Дурнота прошла – и оставила в душе Вавы странное спокойствие и чистоту, будто большая волна смысла с прибрежных ступеней мелкий сор. Она удивленно взглянула на Пшеничку, когда он, не веря, продолжал ее уговаривать.

Она пошла к себе, усталая и тихая, и заснула без снов.

XXII

Свадьба Маргариты прошла без пиров и праздников, даже без особенной суеты. Вася пел на клиросе и остался очень доволен. Долго спустя повторял он напевы и слова обряда венчания, и старался каждый раз понять их по-иному. Ему казалось, что в них есть что-то недоговоренное, и его удивляло, что никто в это не вникал, а все думали о другом.

Маргарита была очень спокойна, а в последние дни даже весела. Ничто не могло уже изменить совершившееся, и она отдавалась жизни, почти не думая о ней. Ее холодность не смущала Пшеничку. Ему нужно было ее согласие – во всем остальном он не сомневался, твердо уверенный, что будущее зависит от него и от его желаний. Уехать в Киев тотчас же после свадьбы не удалось – отъезд был назначен через неделю. Впрочем, все приготовления и переустройства в доме Пшенички были приведены к благополучному концу, и Маргарита водворилась на новом месте.

Генерал отложил свой отъезд на несколько дней. История с Катериной обошлась как нельзя лучше. Варвара Ниловна чувствовала себя здоровой на следующий день. Генерал пришел утром, они долго беседовали одни. Вава сделалась опять веселой и полной надежд. Она говорила, что понимает все. Он должен уехать – куда и как отпустит он теперь Катерину? Это ясно. Но, конечно, как только устроится в Москве

– может ли быть сомнение, что Катерина не останется? Она просто глупа, но все-таки он простить ей этого не может. За это ручается его характер, все в нем... Хорошо ли было с ее стороны говорить ему, чтобы он ее прогнал? Разве он сам не знает, что ему делать?

– Он так и сказал, что прогонит ее в Москве? – спросила Нюра с полуулыбкой.

– Ах, Боже мой, Нюра, какая ты! Разве нужно все непременно говорить самыми грубыми словами? Не беспокойся, он умеет сказать, как нужно. Я с полуслова его понимаю. Господи, если бы ты знала, Нюра, что это за удивительный человек!

Она опять была счастлива и опять желала счастья. Нюра пожала плечами и отошла. Со дня свадьбы Маргариты она была очень молчалива и озабочена, часто отправлялась одна в город, не обращая внимания на погоду.

Генерал уехал в дождливый и ветреный день. Он боялся парохода, и утром приехала коляска, чтобы отвести его по шоссе в Севастополь. Миндальные деревья на дворе колебали голые верхушки на сером небе, нежная ива качала своими ниспадающими тонкими прутьями. Крыльцо с верандой было мокро, переплеты веранды, увитые коленчатыми черными стволами когда-то тяжело-бледных роз – казались редкими и резкими. Садовник, работница и усердный Иван под наблюдением Катерины, совсем готовой, в черной мантилье и фильдекосовых перчатках, привязывали чемоданы сзади

коляски. Генерал, одетый тепло и элегантно, сидел с Андреем Ниловичем, со всей семьей. Он вчера днем простился с баронессой и со всеми городскими знакомыми дамами, а последний вечер провел внизу и почти все время наедине со счастливой Вавой. Она и гордилась, и радовалась, что она последняя его видит перед отъездом и что он отдал этот вечер ей. Вася, едва слышно аккомпанируя себе на пианино, едва слышно пел тонким, ровным голосом, сводя на нет постепенно и незаметно какие-то свадебные стихи, полугрустные, полурадостные. Генерал говорил простые и милые вещи, Вава слушала его с открытой душой, полная самых ярких надежд и полагая жизнь свою в это понятное и близкое счастье.

Теперь он уезжал. Ваве было больно и весело. Больно – потому что она не будет видеть его, – весело, потому что он уезжает, а это уже шаг к возвращению. Какое будет возвращение – она знала и представляла его себе так ясно, как будто это грядущее было уже прошлым.

Последние минуты перед отъездом всегда длинные, беспокойные и неловкие. И все обрадовались, когда Иван пришел сказать, что лошади ждут. Вава накинула плед, чтобы выйти на крыльцо, хотя лил дождь. Генерал нежно протестовал, но Вава все-таки пошла. Он в темноватой передней взял ее руки, опять поцеловал их, медленно и крепко, и сжал в своих.

– До свиданья, до свиданья, моя дорогая... Пишите же мне... Я вам на пишу, как только приеду. Не скучайте... Я

вернусь пораньше. Глубокая благодарность вам за все...

Вава опустила ресницы, чтобы не заплакать. Ей хотелось попросить, чтобы он телеграфировал ей, когда приедет на место, но она не посмела и сказала только:

– Я буду вам писать... Возвращайтесь, как только сможете. Я...

Она не сумела договорить и ниже опустила взор, потому что слезы были совсем близки. Генерал еще раз сжал ее руки с чувством – и толкнул дверь на крыльцо. Садовник стоял без шапки, и лысина его лоснилась от дождя, мокрая, бледная и холодная. Вася тоже вышел проводить генерала, который ему ласково пожал руку и что-то сказал доброе. Вася задумчиво посмотрел на густо-белое небо, на болтающиеся ветви ивы, на садовникову лысину – и ему стало жаль. Ему вспомнилось, как приехал генерал, как над светом фонаря бледнели тяжелые розы, как он, Вася, смотрел с Вавой на генерала из-за правого угла и какой генерал тогда был удивительный, загадочный и прекрасный. Вспомнилось, как он стал любить генерала и бояться Катерины, которая теперь, такая же маленькая и сухая, но уже совсем не страшная, возилась с другой стороны коляски, явно не замечая Ваву. Васе было не то жаль, что уезжает генерал, а что он теперь не такой, и нет к нему любви, и нет страха перед Катериной. Генерал с последними улыбками и поклонами влез в закрытую коляску. Катерина поместилась напротив. Лошади тронули, и тяжелый кузов, колеблясь, двинулся вперед, под гору.

Вава хотела еще раз крикнуть: «Возвращайтесь!», – но не крикнула. Темная, намокшая прядь волос упала ей на висок. Она плотнее завернулась в плед и шурилась от дождя и от слез. Лицо ее казалось похудевшим и увядшим.

Вася опять посмотрел на бегущие и не пробегающие облака, на голые прутья ивы, на все кругом, такое важное, тихое и упорное, и ему стало казаться, что, в сущности, не жаль ни тяжелых роз, ни того генерала, ни любви, ни страха, и что хорошо, что оно все прошло. Так и надо, чтобы прошло. Оно для того все и было, чтобы пройти. И когда это, теперешнее, тоже пройдет и кончится с весной-то это тоже будет хорошо.

XXIII

– А где Нюра? – спросил рассеянно Андрей Нилыч. Вава, усаживаясь разливать вечерний чай, ответила:

– Она еще задолго до обеда ушла в город. Хотела Васю с собой взять, да у него зуб болит. Ей нужно было к Маргарите. Ведь они через три дня уезжают. А перед вечером Нюра мне записку прислала, чтобы о ней не беспокоились, что она у Маргариты ночует.

– У Маргариты? Что за фантазия! И какая манера бегать одной в такую даль!

– Она Ивана с собой берет до города, Андрюша, а в городе не страшно. Погода же стоит хорошая. Я бы пошла с ней, непременно пошла бы, да Фортунат Модестович слышать всегда не хочет, чтобы я пешком в гору возвращалась, а что ж каждый раз извозчика? Нюра завтра, верно, с Фортунатом Модестовичем и вернется.

Андрей Нилыч зевнул. Ему было все равно. Он и спросил от нечего делать. Он скучал сегодня, потому что пасьянс ему надоел, а преферансик, по маленькой, не составился. Если б Андрей Нилыч не боялся за свое здоровье и если б было на чем поехать – он тотчас же поехал бы к сестрам вдовам. Он последнюю неделю очень сошелся с баронессой и одним маленьким, приличным, молчаливым старичком, с которым и составлялась партия. Баронесса и ее сестра были

очень милостивы к Андрею Нилычу в пустынный зимний сезон и частенько сами завертывали к нему для партии, и старичка привозили.

Вечер прошел монотонно. Рано легли спать. Утро встало холодное и ясное. Варвара Ниловна утром поссорилась с няней Кузьминишной из-за генерала, плакала, – а потом просила у нее прощения, и они помирились. Ссоры теперь случались очень часто. Няня имени генерала слышать не могла, после того, как он уехал, и довольно жестоко говорила Ваве, что он ее «обманул». С Катериной накануне отъезда у них была баталия, чуть не драка. Няня до сих пор не успокоилась и была полна неизъяснимого негодования. Занятая ненавистью – она даже Ваву любила меньше.

В двенадцать часов сели завтракать. Бедный Гитан, которого заперли, когда уезжал генерал, – плакал потом два дня, жалобно и покорно, зная, что уже ничем не поможешь. Потом замолк, но сторбился, качался, ходя, на ногах. Он жил в кухне, но иногда Вава, которую единственно он отличал от других, брала его в комнаты. Он, большой и худой, укладывался у нее на подоле и не хотел даже есть.

И теперь он лежал около нее, несмотря на протесты Андрея Нилыча. Вася, молчаливый и сосредоточенный, ел картофель с маслом и думал о том, что, верно, и сегодня урока не будет, что вообще его стали мало учить и что это очень хорошо – больше времени остается, а ему, Ваве, время было нужно для всяких различных, нужных, – занятий.

Топая высокими, грязными сапогами, к порогу подошел белокурый и серый Иван. Он каждый день отправлялся в город за провизией и почтой, топ, вяз в невозможной осенней грязи, едва втаскивая, по своему слабосилию, тяжелую корзину в гору.

Он с порога протянул Андрею Нилычу газету – «Русские ведомости». На газете лежало только одно письмо. Андрей Нилыч с удивлением взглянул на городскую трехкопеечную марку. Письмо, вероятно, было брошено в ящик вчера вечером.

Андрей Нилыч не знал руки. И, разорвав довольно толстый конверт, он прежде всего взглянул на последнюю страницу. Там стояло: «Нюра».

Андрей Нилыч с недоумением и неприятным чувством, которое возрастало, повертел в руках два небольших листика. Он не понимал. Что это за корреспонденция? Что такое еще случилось? И зачем писать от Маргариты, когда можно прийти?

Первые строчки письма его даже не поразили, он просто ничему не поверил. Но чем дальше он читал, тем письмо делалось вероятнее и ужаснее.

«Я уезжаю сейчас с пароходом „Юнона“, дорогой папаша, – писала Нюра. – Когда вы завтра получите это письмо, я буду уже в Севастополе, у сестры Пшенички – я с нею списалась помимо Фортуната Модестовича, – и она приютит меня на несколько дней. Адрес ее – Морская улица, дом Сертел-

ли. Я не скрываюсь, – напротив, – и тут я буду ждать от вас известий».

Нюра писала дальше, что очень жалеет, что ей пришлось уйти потихоньку. Но Андрей Нилыч не хотел отпустить ее, а не ехать она не может. Она будет жить у тети Любы и поступит на фельдшерские курсы. Она взяла свое метрическое свидетельство и немного денег, – но этих денег, давно ею скопленных, едва хватит на дорогу до Петербурга, и она просит выслать ей еще, из капитала, оставленного ей матерью, – самую маленькую часть, только на необходимое. Сдержанно, разумно, почти мягко Нюра прибавляла, что, конечно, папаша может вернуть ее через полицию, потому что она несовершеннолетняя, – но просила его хорошенько подумать раньше и иметь в виду, что неизбежен скандал, и даже из крупных, что пищи для сплетен и разговоров, самых ужасающих, будет довольно, что она сама не станет об этом молчать, ни в Ялте, ни в Москве, а при первом случае уедет опять. И если папаша не думает о ней – пусть подумает о себе, о том, что станут говорить в Москве, куда она вернется через несколько месяцев, и поверят ли в их кругу, что «Сай-менов через полицию вернул дочь, которая поехала в Петербург учиться». Хотя она и не думала, что папаша поедет в Севастополь сам, вопреки благоразумию, она все-таки предупреждала, что море беспокойно, да и результатов эта поездка иметь не будет, потому что она решила бесповоротно. Письмо кончалось мягкой, почти ласковой просьбой дать

вольное согласие, уважить желание, верить, что ее руководит лишь «жажда знания» – и тотчас же опять говорилось о неизбежном «скандале» в случае отказа.

Андрей Нилыч становился все бледнее, читая, и, кончив, опустил немного вздрагивающие руки с письмом на стол. Невыносимая обида и бешенство сдавливали ему горло. Он хотел кричать, вопить от злости, разразить всех, с понятиями вернуть девчонку и высечь ее. Он хотел сейчас же закричать и начать действовать, бросился с одной мысли на другую, потом на третью – и понял, что они не годились. Злоба и стыд, что его обманула эта девчонка, послушалась отца – мешала ему кричать и неистовствовать без ясного и сильного плана противодействия. И он, желая выиграть время, бросил письмо Ваве и проговорил сквозь зубы:

– Прочти.

Вава прочла и поняла сразу. Она покраснела, тихо вскрикнула и сейчас же спросила:

– Андрюша, ведь ты не станешь... ее назад? Позволь ей! Ведь все равно... будет только мучение. Я не понимаю, как она смела... как она может... это ужасно, конечно...

Она хотела прибавить, что Нюра не виновата, что это, верно, ее тот студент надоумил, – но подумала, что лучше не упоминать про студента, – и смешалась.

Андрей Нилыч с достоинством и медленностью поднялся с кресла, взял письмо из рук испуганной Вавы и произнес:

– Покорно прошу тебя обо всем молчать. Слышишь?

И, не дожидаясь ответа, вышел из столовой к себе в комнату. Дверь хлопнула, и все смолкло.

Вася, безмолвный свидетель непонятной ему сцены, с ужасом глядел на Ваву и не смел произнести ни слова. В комнате было слышно только частое, беспокойное дыхание и хрип старого Гитана.

Так прошло несколько минут. Наконец Вася не выдержал и упрашивающим и важным голосом спросил:

– Вава, чего это дядя, а? Из-за чего? Что такое в письме написано? Потому что я ведь вижу, что случилось какое-то дело. Убедительно тебя прошу, Вава, скажи!

Вава не знала, сказать ли ей. Андрей Нилыч запретил говорить кому бы то ни было, но Вася ведь все равно догадается наполовину, станет спрашивать, – не скроешь. От домашних не скроешь. Да и разрешиться это как-нибудь должно. Васе лучше все объяснить, он не разболтает, если поймет.

– Видишь, Вася... – начала Варвара Ниловна. Она еще колебалась и хотела придумать в последнюю минуту какую-нибудь ложь, но не придумала и сказала просто: – Нюра не у Маргариты, а уехала с пароходом в Севастополь и теперь там у сестры Фортуната Модестовича. Она хочет дальше, в Петербург ехать, на курсы поступить, чтоб ей дядя позволил, не требовал ее назад, потому что она очень хочет на эти курсы. Помнишь, они спорили? Она, конечно, очень гадко поступила, что уехала, когда дядя не хотел, но теперь уж ничего не поделаешь. По-моему, пусть бы она ехала, но еще не

известно, как дядя рассудит; может, он сам за ней поедет. Ты понимаешь, поэтому и нельзя об этом пока никому говорить.

– Да кому же я скажу? – вскрикнул восхищенный Вава. – Я никому не скажу. Ай, Вава, как это интересно! Что-то будет? И на курсы? А что это за курсы, Вава? На них очень хорошо?

– Я не знаю. Просто, фельдшерские курсы. Нюра выучится и будет фельдшерницей.

– А, фельдшерница! Это, помнишь, когда дядя был очень болен, так ему доктор из больницы фельдшера на несколько дней прислал, чтоб его переодевать осторожно, не простуживая. В пиджаке такой фельдшер, руки красные. Так Нюру тоже будут присылать? А после что?

– Чего ж тебе после? После то же самое. Фельдшерница.

– Я не понимаю, Вава. Зачем же она уехала?

– Да говорят же, Боже мой, что она этого хочет. Сильно желает.

– Так сильно желает на эти курсы, чтоб быть фельдшерницей? Ах, Вава, как удивительно и непонятно, что она желает! И почему? Ну вот поступит теперь на курсы, ну вот будет желать выучиться. После будет фельдшерница. Это ясно, Вава, только неужели это уж самый последний конец, самое настоящее, чтобы можно его было так сильно желать? Наверно, она потом еще чего-нибудь захочет. И вот я не понимаю, как это она так сильно желает того, после чего опять надо желать?

Вася был взволнован, и мысли его совсем ушли в сторону. Вава его не слушала. Из спальни раздался звонок. Няня Кузьминишна, молчаливая и сердитая больше, чем всегда, явилась на зов и, выйдя, объявила, что барин чувствует себя дурно и велел немедленно послать за Фортунатом Модестовичем.

Вава не посмела войти к брату и присела без работы, в тоске и ожидании, на диване у окна. Вася слонялся сначала по комнате, озабоченный, бормоча что-то про себя, а потом исчез в парк, – но ненадолго. Было ясно и не очень холодно. Часы тянулись безмолвные и медленные. Наконец послышался стук колес. Явился Пшеничка, серьезный, с вихром белокурых волос на виске, без всяких прибауточек. Он прямо прошел в комнату Андрея Нилыча и оставался там часа полтора. Перед обедом, к удивлению Вавы, Андрей Нилыч вышел с Пшеничкой совсем одетый тепло и заботливо, они вместе сели на ожидавшегося извозчика и уехали.

Вава хотела спросить, что же обед? Но не посмела.

Они вдвоем с Васей поели простывающего супу. Вася хотел есть, хотя и волновался. Вообще, Вася много ел и часто мучился мыслью, не грех ли это и позволено ли наесться «до пресыщения».

Вася потом, вечером, хотел опять начать разговоры с Вавой, хоть полушепотом, – но в комнату часто входила няня – и он умолк. Около девяти часов, в полной тьме, приехал наконец Андрей Нилыч. Он велел подавать чай и прошел к

себе, – но сейчас же вернулся. В столовой была и няня.

– Я проводил Фортуната Модестовича с женой в Севастополь на два-три дня. Нюра тоже с ними поехала. Может быть, она вернется, – а может быть, и в Петербург они ее снарядят там. С Богом! Пускай поучится. Ты, няня, собери потом ее платья, послать надо будет. Там неожиданно вздумали... Слышишь?

– Ихние вещи все в порядке, которые на моих руках были, – холодно сказала няня, повесила чайное полотенце на стул и вышла.

Вава промолчала, только обрадовалась, что все улаживается. А Васе стало стыдно, что дядя лжет, – ведь уж Нюра была в Севастополе, значит, Пшеничка и Маргарита одни уехали. И он стал раздумывать, зачем это вообще необходимо лгать и зачем теперь нужно лгать, когда и без того все плохо, и скучно, и нехорошо, и уж достаточно одних Нюри-ных фельдшерских курсов.

Но дядя продолжал лгать, и при этом веселел, точно убеждался, что ему верят, и сам верил, что говорит правду.

XXIV

С первым снегом получилось первое письмо от генерала. Снег был ранний, довольно глубокий, и лежал долго. При этом, конечно, все удивлялись и уверяли, что это необычайно, неслыханно и что старожилы не запомнят такой холодной погоды в Ялте. Андрей Нилыч, хотя и был разочарован климатом Крыма, не жаловался; здоровье его было отличное, он не скучал, сойдясь ближе с домом баронессы, которая очень радовалась усердному партнеру для преферанса. Он завел себе постоянного извозчика и почти все вечера проводил внизу. Баронесса и жила немного ближе города, на выезде.

Только в самую сильную грязь по горе – Андрей Нилыч не решался выезжать и брюзжал дома вплоть до того часа, когда нужно было ложиться спать.

Комнаты, мебель нагорной дачи – все осталось таким же, и между тем все безвозвратно изменилось, и постоянно изменялось вместе с идущими днями и месяцами. Никто не мог бы сказать, сравнивая, в чем перемена: все было другое, воздух, сквозь который видно окружающее, был другой, – и поэтому оно тоже было другое. Ваве часто казалось, что она не здесь встретила Радунцева, не здесь говорил он ей ласковые слова, от которых у нее замирало сердце, что старая картина над роялем, смотрящая на нее грустно, сдержанно и важно,

не была тогда, а была другая, совсем с другим выражением. Неужели она через это же балконное стекло смотрела на те же лиловые горы, когда в парке цвели душистые розы, и когда «он» входил каждый день по ступеням этого балкона? Даже Гитан, медленный, слабый и покорный, казался ей новым, ничего не знающим, недавним.

Были, конечно, и внешние перемены. С отсутствием Нюры и Маргариты дом стал молчаливее, тише. Няня Кузьминишна вела упорную, долгую и сложную войну с женой садовника и реже заговаривала с Вавой, и меньше ворчала в комнатах. Вася, лишенный уроков Нюры, целые дни проводил за роялем, и дом, большой, просторный и немного мрачный, наполнялся негромкими, длинно торжественными звуками церковных песен.

Была и еще большая перемена: Вава стала иной. Живость движений исчезла; ей теперь трудно было подняться на невысокую лестницу, не задыхаясь; она и подумать не могла бы войти пешком на гору из города. Два раза в неделю, утром, она ездила с Васей вниз, к Пшеничке, который усердно и сложно лечил ее. Но болезнь не уступала, а, напротив, шла вперед, хотя так постепенно и с такими затиханиями, что окружающие не замечали этого – и менее всех замечала Вава. Бывали дни, когда она хохотала и бегала по комнате быстрыми шажками, болтала с Васей и братом – совсем, как прежде. Андрей Нилыч с удовольствием говорил, думая так же и о своей прошедшей болезни:

– А ведь, ей-Богу, Фортунат Модестович недурной доктор. Он тебе на глазах помог.

Вася был рад, что Вава лучше. Для него она и в эти минуты не была совсем прежней, как весной и летом; он знал, что в ней что-то изменилось, и он любил ее, изменившуюся.

Вава теперь постоянно разговаривала с Васей, и они очень сошлись. В то утро, когда выпал снег, Вася увидел его первый, восхитился и бросился к Варваре Ниловне.

– Вава, Вава! – кричал он сквозь дверь. – Скорее! Посмотри, какое все стало необыкновенное! Как всему стало тепло! Теперь еще яснее видно, что весна придет! А горы все в дорогах – ей-Богу. Извилистые такие жилы. Вообще сегодня необыкновенный день. Я сразу это заметил. Иди скорей!

Вава, неумытая, в темненьком капоте, вышла в столовую. Стены сияли от снега жидко-белым светом. Воздух за стеклом двери казался легким и острым. Горы улыбались со строгостью. Черные кипарисы парка с испугом поддерживали мягкую ризу, покрывающую их с одной стороны. Бледное небо с бледно-золотым солнцем было чисто.

Ваве стало радостно и весело. В самом деле, весна придет! И есть хорошее и необыкновенное в этом дне.

– Вася, хочешь, оденемся и побежим по парку? Как, снег хрустит или нет?

Вася взглянул на нее с деловым видом.

– А тебе не станет хуже? Смотри! Вон, говорили, тебе совсем нельзя бегать.

– Ну мы потихоньку. Даже не в парке, а тут около крыльца. Мне сегодня гораздо лучше.

И после прогулки Вава отлично себя чувствовала. Сели завтракать, молчаливый Иван принес почту.

– Тебе письмо, Вава, – улыбаясь, сказал Андрей Нилыч. Вава взяла письмо, взглянула, немного побледнела и тотчас же вышла с ним из комнаты.

После обеда, в сумерках, Варвара Ниловна позвала Васю в гостиную. Там они уселись на турецкий диван, и Вава стала рассказывать про письмо.

Вася уже очень много знал о генерале, почти все, потому что Варваре Ниловне больше некому было рассказывать свою душу. Теперь она говорила ему про письма, читала, напрягая глаза, выдержки из писем, объясняла, почему он так долго не писал.

– Он не мог, Вася, – говорила она полупшепотом. – Конечно, я должна была сначала написать. Но я не смела. Понимаешь?

Вася казался ей равным, ей хотелось, чтобы он понял, и хотелось его одобрения: Вася все отлично понимал.

– Оно так, – произнес он с важным видом и раздумчиво. – Однако почему? Если уж так любит... И обещал написать... Чего ж ему было дожидаться?

– Ах, Боже мой! Это ясно! И я сама, кажется, вызвалась написать первая, я не помню. Вот все-таки не выдержал, написал!

– Да. Написал. Что ж он там про свадьбу?

– Ничего, конечно! Глупый мальчик! Разве он станет. Ведь неизвестно, что я ему еще отвечу.

– Ну, положим, ведь ты хочешь за него замуж. Сама говорила.

– Тебе говорила! А разве можно, чтобы другой был вполне уверен? Это охлаждает. Он это чувствует, конечно, но всегда не уверен.

– Видишь ты! – с интересом сказал Вася. – Вон какие штуки. Понимаю. Только скажи ты мне, Вава, точно и досконально, почему ты непременно хочешь за него замуж? Ну, я не знаю, ты скажешь, потому, что любишь его, хочешь всегда с ним, и еще потому, что это так хорошо для тебя подходит, и еще разное... У тебя большое желание. Только оно какое-то близкое. А потом что? Ведь этого нельзя всю жизнь желать. Это сейчас должно сбыться. А потом ты что станешь делать? Надо быстро все в себе переменить и другое начать желать.

– Да зачем? Тогда уж я ничего не буду желать, у меня все будет.

Вава сказала это неуверенно, хотя ей искренно казалось, что она так чувствует. Вася покачал головой.

– Ну, уж это глупости. Желать надо. А только вот, чего желать? Последнего и постоянного, – или так, что сейчас перед собой видишь. Я вот мало ли что перед собой вижу: а мне не надо.

– Какой ты, Вася, странный. Вечно свернешь в сторону.

Ты мне лучше скажи: правда, письмо доброе, милое? И про Гитана спрашивает. Гитан с нами гулял сегодня утром по снегу. Только он еще больше хромает, и нос опущен. И худой какой – ужас! От скуки, что ли... Надо написать. Ты с утра, Вася, сказал, что день необыкновенный – вот он и вышел необыкновенный.

– От скуки, думаешь, Гитан худой? Может быть. Он очень переменился, Гитан. Я на него смотрю, и кажется он мне умнее и тише.

– Да уж чего же тише! – сказала Вава и захохотала. Вася обиделся.

– Ну чего ты? Это хорошо, что тише. Чего хохочешь? Ты и сама лучше, когда тише, а не такая, как теперь.

Вава замолкла и задумалась.

XXV

Письмо нельзя было написать сразу, его следовало обдумать и много раз переписать, а потом, в конце концов, разорвать и писать новое, потому что все не выходило, как следует, и Вава сама знала, что она в писании неискусна. Вася ей не мог помочь, потому что писал еще хуже. Черновым он часто удивлялся, был даже восхищен и утверждал, что написано со штукой и хорошо. Но Вава все-таки была недовольна и целые дни проводила над бесчисленными листами почтовой бумаги.

Целая неделя прошла. Снег вдруг стаял, воздух сделался густым и грязно-серым, неприятное небо приникало к черной земле. Большие птицы, тяжело махая крыльями, перелетали в парке с одного дерева на другое, мутные в туманном воздухе. Все сблизилось и стало невыносимо домашним.

Накануне вечером Вава не говорила с Андреем Нилычем и Васей и не писала письма. Она смотрела на огонь лампы, и в лице ее было странное выражение, точно она старалась что-то вспомнить, воспоминание подходило совсем близко, но ей было трудно и больно, что оно мучило и не давалось. Вася даже спросил ее:

– О чем ты?

Но она взглянула на него с удивлением:

– Что о чем? Я так. Мне хорошо.

И в голосе ее была искренность.

На другое утро следовало отправиться в город, к Фортунату Модестовичу.

– Черт знает, что за погода! – ежился Андрей Нилыч. – Я целый день не выйду. Как раз бронхит схватишь. Советую тебе, Вава, пропустить визит. Простудишься.

– Нет, все равно, – кротко ответила Варвара Ниловна. – Уж лошади ждут. Да и Вася готов.

– Едем! – крикнул Вася весело и вдруг примолк, взглянув на Ваву.

Она была другая. Ничто теперь не напоминало в ней Ваву, которая несколько дней тому назад рассказывала про генерала и писала ему бесконечные письма. Лицо было серьезное, старое и красивое. Точно вдруг проступившая и не мучительная для нее болезнь – заставляла ее глубоко думать о том, в чем она никак не могла додуматься до конца.

Она закашлялась, садясь в экипаж под редким, желтым и холодным туманом – но кашель был не мучительный. Вася спросил, не болит ли у нее что-нибудь, но она тотчас же ответила, что ничего не болит.

Они ехали медленно, по дурной дороге, в открытой коляске, потому что Ваве было душно иначе. Закутанная, она сидела в уголке, выглядывала из платков темная и маленькая. Она молчала. Вася заметил, что она сидит не твердо, а все дремлет. Он хотел сказать ей, чтобы она не спала, но потом подумал: отчего же ей не поспать, если ей так нужно! И ни-

чего не сказал, только смотрел, чтоб она не упала. Она плотно прислонилась к уголку и совсем задремала. Мокрый ветер визжал между придорожными домами и стучал, как костяшками, сучьями крепких, малорослых деревьев. Вася глядел в лицо спящей Вавы; оно и во сне было такое же красивое и старое; и так же казалось, что она думает об очень важном и не может додуматься.

Фортунат Модестович назначил Варваре Ниловне другое лечение, шутливо бранил ее и сказал, что ей хуже потому, что она простудилась.

– Поберегитесь вы до весны-то! А там молодцом будем. Ведь у нас декабрь на исходе, самое подлое время. Да ничего, если желать быть здоровой беречься. Вы смотрите-ка, Агния-то у меня Николаевна! Ведь просто чудеса, коли знать, что у нее внутри было! А поправляется. Да еще как! Скоро на выписку попросится, к мужу в Москву. Только не пущу ее до лета. Вы, Варвара Ниловна, веселей смотрите! Что, в самом деле! Поболели – да и выздороветь надо. У вас жизнь впереди!

И он лукаво сощурил глаза. Вава поняла намек, улыбнулась безучастно и кротко и сказала:

– Конечно, Фортунат Модестович. Я хочу выздороветь. Но, право, у меня ничего не болит. Я очень хорошо себя чувствую.

Когда перед самым завтраком Варвара Ниловна и Вася подъехали к крыльцу дачи, на ступенях стоял Гитан.

Немного разъяснилось, тучи шли выше, туман был не такой желтый и видны были черные кипарисы парка. С деревянных переплетов веранды падали редкие, крупные капли. Гитан стоял худой, с запавшими боками, с двумя выдавшимися костями от спины. Белая шерсть его была взъерошена, мокра, с желтоватым оттенком. Хвост плотно прилегал к задним лапам. Гитан стоял тихо и твердо, не шевелясь, и хотя голова у него была опущена – он следил глазами за подъезжающим экипажем. Вася удивился, потому что Гитан никогда не стоял так и не смотрел так. Он в последнее время все больше лежал в кухне у печки, где у него была подстилка.

– Чего ты, Гутя? – спросил он беспокойно. – Чего он так стоит, Вава, а?

Вава с некоторым трудом вышла из экипажа. Когда она поднялась на две ступени, Гитан медленно повернул к ней голову и посмотрел. Вава провела рукой без перчатки по его мокрой острой спине.

– Хочешь, пойдём в комнаты, со мной? Вон ты какой мокрый! Пойдем.

Гитан сделал ласковое движение, неудавшееся, потому что хвост так и остался плотно прижатым к задним ногам – и за Вавой не пошел. Он вдруг сдвинулся, пошатнулся, но тотчас же спустился со ступеней и направился прямо, через двор, медленно, все с опущенной головой – к парку. Вася проводил его глазами с изумлением. Варвара Ниловна осталась и тоже смотрела.

Калитка в парке была заперта. Гитан дошел до нее, ткнулся мордой в решетку, точно не видел ее, и стал, в той же покорной позе, с опущенной головой.

Вася вдруг сорвался с крыльца, перебежал двор и распахнул перед Гитаном калитку парка. Гитан вошел, не удивляясь, не оборачиваясь, медленно стал двигаться по прямой аллее и скоро сделался мутным и большим сквозь слой тумана, а потом и совсем стерся.

Вася не пошел за ним, не позвал его, только поглядел ему вслед, притворил калитку и тихо вернулся к ступеням крыльца, где ждала его Варвара Ниловна.

– Он в парк хотел, – сказал Вася робко. – Я его и пустил. Он непременно хотел. Пускай его идет, как ты думаешь, Вава, а? Не надо препятствовать, если он так хочет.

– Там холодно, сыро... – сказала Вава задумчиво. – Он больной... Да пусть, если хотел.

Они пошли по ступеням и вернулись домой.

Вава не стала завтракать, легла отдохнуть. К обеду вышла. Стемнело быстро. Вася подумал, что, может быть, Вава после обеда станет ему рассказывать о генерале или начнет писать письмо. Он, впрочем, сейчас же почувствовал, что, вероятно, она этого не станет делать. Она, точно, не стала, а присела после обеда молча на диване и не то думала, не то опять дремала. Васе было беспокойно. В комнату входили и Иван, и няня Кузьминишна; Вася хотел спросить о Гитане, вернулся ли он, а если вернулся, все ли такой тихий, и каж-

дый раз у него от испуга схватывало в горле, и он не спросил, не желая слышать то, что ему скажут. Ему казалось, что, может быть, Вава тоже думает о Гитане, но он ее не спросил.

Андрей Нилыч по случаю дурной погоды не поехал на пульку к баронессе, был не в духе и скоро ушел к себе. Поднялся ветер, и Вася, лежа в постели, долго слышал его настойчивый голос, которому вторил, глуше, ниже и тише, голос моря внизу.

– Точно басы... басы... – шептал Вася, вслушиваясь. – Вон рокочат, как бархатные...

Ему казалось, что он различает слова хора, понятные слова – только очень важные и строгие. И он хотел их понимать и все больше открывал сердце, чтобы слова вошли, и чтобы те, кто говорит эти слова, не боялись сделать ему их понятными.

От мысли о Гитане он отвергивался и съеживался перед нею. Вернулся ли? Зачем пошел? Ну, будь что будет! Не надо об этом думать.

Он старался не думать – и заснул.

Утро встало ясное, желто-голубое, морозное и безветренное. В тени лежал серебряный иней – но недолго. Теплое солнце поднялось выше, согнало иней и угрело землю. Васе казались пустыми и стыдными его вчерашние страхи и недоумения. Как светло и ясно! Какое ласковое и веселое солнце! Он услышал сквозь дверь и Вавин голос иным, – недовольный, раздраженный, обыкновенный. Это его тоже подбодри-

ло.

«Сегодня, верно, опять будет писать генералу», – подумал он почему-то.

Ему захотелось на воздух, теперь, перед завтраком. На секунду, при виде калитки парка, он смутился вчерашним смущением, но сейчас же оправился и шагнул вперед.

Вава сидела на широком диване, сложив ноги калачиком, и подбирала старые разрозненные номера журнала для Андрея Нилыча, когда Вася вернулся из парка.

Он вошел медленно, положил фуражку на рояль, подумал с минуту и вдруг сказал:

– Вава, знаешь, Гитан умер. Я его видел.

Вава подняла глаза, вдруг потемневшие.

– Гитан? Умер? Где? Зачем ты говоришь неправду?

– Я говорю правду. Он вчера, верно, еще умер, потому что он холодный, прямой и твердый. Я его трогал. Я боюсь мертвецов, очень боюсь, но Гитана не боюсь, потому что видел его перед самой смертью, когда уж он был тихий; я ему и дверь отворил, когда он умирать захотел. Знаешь, Вава, он там, в парке, на сухих листьях, около той самой скамейки, где вы всегда с генералом сидели. Он туда и хотел вчера. Он умный, Вава, вчера стал, умный и тихий. И конца своего очень желал там. Я, как в парк вошел, по сторонам не хотел смотреть, боялся что-нибудь такое увидеть, потому что давно уж у меня мысль о Гитане была, неизвестно какая, но была. И вот я боялся. А потом не успел отвернуться, посмотрел, уви-

дал его – и почувствовал, что не боюсь. Он очень хороший, Вава, и ему очень хорошо.

Вава молча и пристально смотрела на Васю, размышляя. Утром она говорила раздраженным, обыкновенным голосом, и Вася даже думал, что она сегодня будет ему рассказывать о генерале; но теперь она по-вчерашнему была важная, и Васе тоже не казались, как утром, пустыми вчерашние мысли и события.

Варвара Ниловна поднялась с дивана и сказала, наконец:
– Вася, пойдем в парк. Я тоже хочу видеть, где Гитан умер.
– Пойдем! – восторженно вскрикнул Вася. – Ты знаешь, около цистерны! То самое место! Ах, Вава, несколько не страшно, а только удивительно и хорошо!

Он схватил фуражку, но вдруг остановился и прибавил нерешительно:

– Я и забыл... Ведь это далеко... Как же ты дойдешь?

Варвара Ниловна изумилась и на минуту вспыхнула.

– Это еще что? Целое лето туда только и ходила... Сколько раз в день... Генерал, и тот по два раза бывал...

Вася хотел сказать, что тогда она была здорова, а теперь больна – но ничего не сказал.

С трудом, с отдыхами, Варвара Ниловна и Вася дошли до заветной скамейки у цистерны, где неподалеку, на сухих листьях, улегся Гитан.

Погода немного испортилась. По небу скоро-скоро бежали длинные облака с нерезкими, мутными краями. Го-

лое, черное дерево над скамейкой позвякивало крепкими сучьями. Несильные порывы ветра шевелили беловато-желтую взъерошенную шерсть на твердом Титановом теле. Он лежал, вытянув все четыре лапы, с незакрытыми, не мутнеющими, кроткими глазами, и лежал просто и удобно, точно ему в самом деле было хорошо.

Вася погладил холодную голову и стал утверждать, что его надо похоронить именно здесь, и что иначе нельзя.

– Знаешь, я садовнику скажу, попрошу... А ты генералу напишешь... Да, Вава? Генерал не рассердится... Что ты ищешь?

Варвара Ниловна низко наклонилась к земле. У ствола дерева, с неветреной, солнечной стороны, сухой листок был приподнят. И под ним, не смея взглянуть на небо, выходил из земли крепкий цветок на зеленой ножке, с белой и нежной головкой, робко смотрящий вниз, точно ему было стыдно самого себя.

– Подснежник! – радостно вскрикнул Вася, увидав этот странный цветок в руках Варвары Ниловны. – Вот так чудеса! Мороз на дворе – а он не боится! Отчего он не боится, Вава, а? Правда, это удивительно? Ведь вот говорили мы, что весна придет! Вот она и пришла!

Варвара Ниловна улыбнулась.

Когда они возвращались, опять с отдыхами, Вася неустанно говорил про весну и про то, что Гитана необходимо похоронить у цистерны.

– А ты боялась Гитана, а, Вава? Боялась?

– Нет, чего же? Жалко только.

– Жалко, что умер?

– Нет, что пошел умирать. Вася задумался.

– Жалко, правда, но это хорошо! Какой он был тихий и упорный! Он думал что-то про себя. А генерал огорчится. Как он генерала-то любил! И за что? Ты напиши, Вава, генералу. Все опиши. Напишешь?

– Напишу, – сказала Вава. Но, подумав, прибавила: – Хотя что ж его подробностями расстраивать? И потом трудно... Он не видал, какой он лежит... Я, может, ему просто напишу, что Гитан умер.

XXVI

Были дни и ветреные, и холодные, и теплые; выпадал снег – и таял; утром случался мороз – и солнце сгоняло серебро с отвердевшей земли; но уже с конца января везде, у дороги, под деревьями, под сухими листьями, под оставшимся в ямке куском снега – везде упорно выходили белые крепкие цветы на зеленых стеблях, с опущенными головками. Они не боялись ветра и снега, хотели жить и дышать. В феврале небо стало выше и прозрачнее, полоса снега на горах сузилась, темные и бледные фиалки показались на солнечных пригорках парка, желтые, с красными жилками, и голубые анемоны поползли по дорожкам, проникая к теплеющей и влажной земле. Миндальные деревья просветлели под снежными гроздьями цветов. Март стоял тихий, солнечный, воздух просыпался, полный легкими ароматами, полузаметными – и нельзя было сказать, радостными или печальными.

Вася не отходил теперь от Варвары Ниловны. Они мало разговаривали, о генерале совсем редко. Вася даже не знал, ответила ли она ему. Вероятно, да, потому что от него опять было письмо. Вава говорила, что хорошее, славное письмо, и что надо ему написать, да она никак не соберется. Она все меньше и меньше ходила, часто совсем не могла встать, и тогда Иван вывозил ее в кресле на воздух, на солнечный балкон. Вася сидел около нее, мало рассуждал, точно притих-

ший, пел тонким, полуслышным голосом церковные стихи, незаметно кончая их, замирая до шепота в последней, всегда любимой, ноте. Однажды он вдруг сказал:

– Вава, поучи меня.

Вава удивленно взглянула на него и улыбнулась.

– Поучить тебя? Чему же? Я ничего не знаю. Что это тебе пришло в голову?

– Нет, Вава, мне иногда так хочется, чтобы ты меня поучила. Теперь хочется, прежде я не думал. И с Ньюрой никогда не думал. А смотрю на тебя, и такая ты мне кажешься умная, такая ты тихая и умная, и хочется, чтоб ты меня стала учить. Я знаю, ты теперь больна, а вот поправишься немного, хоть немного – ты меня будешь учить. Я дяде скажу. Да, Вава?

Вава улыбалась и смущалась. Ей нечему, думала она, учить Васю; она никогда никого не учила.

В один сияющий мартовский день на горную дачу приехали Фортунат Модестович и Маргарита. Вава была слишком больна, чтобы ездить к нему, он сам навещал ее через день, а последнее время и каждый день. Вава отдыхала в своей комнате, Андрей Нилыч, поздоровевший и располневший, встретил Пшеничку и редкую гостью Маргариту в столовой. Из соседней комнаты доносились нежные звуки рояля вместе с Васиным голосом:

Благословен еси Господи,
Благословен еси Господи,

Научи мя оправданиям Твоим!

В последней строфе были и слезы, и радость, и все открытое сердце к Тому, кто научит и не может не научить, не войти в это сердце. Маргарите пение показалось только печальным.

– Что это он у вас все еще продолжает канты свои распевать? Ужасное уныние наводит! Ну скажите, Андрей Нилыч, что же наша бедная Варвара Ниловна?

Голос Маргариты стал грубее и определеннее, лицо выражало прежнюю скуку – но без ожидания, тупую и не замечаемую. Волосы она причесывала без прежней кокетливости. Она была беременна и широкое платье без талии делало ее неуклюжей и тяжелой.

– Все то же, все то же, – с легким вздохом произнес Андрей Нилыч. – Но она хорошо переносит свою болезнь.

Пшеничка сделал очень серьезное лицо. Вася прекратил пение, вошел тихонько в комнату и, поздоровавшись, сел в уголку.

– А вы знаете, какое известие, – понизив голос, сказала Маргарита. – Ведь Радунцев приехал вчера. Он остановился пока у баронессы, ожидая, чтобы у него все привели в порядок. Мы люди свои, можно говорить открыто? Так видите ли, мы знаем, как это важно, как это должно повлиять на Варвару Ниловну... в ее положении трудно перенести... Ведь он вернулся опять с Катериной.

– С Катериной? – сказал Андрей Нилыч и нахмурился. – Да, конечно, это должно на нее дурно повлиять при ее фантастических идеях. Надо ее приготовить. Вы ей скажете, Маргарита?

– Я? О, нет! Я не могу разбивать чужих мечтаний, да еще больного человека... Пусть Фортунат скажет.

– Да зачем сейчас? – произнес Пшеничка. – Можно приготовить сначала... При ее болезни внезапный удар может быть фатален.

– И как это глупо! Как это глупо! – разволновался Андрей Нилыч. – Ей не об этом думать, еле двигается, чуть не... – Он остановился и прибавил: – Словом, я говорить ей не буду.

– Хочешь, дядя, я скажу? – послышался голос Васи из угла. – Я ей сегодня же скажу. И, право, что ж? Я не думаю, чтоб она стала очень огорчаться.

– Много ты понимаешь! Пустяков не болтай. Но, конечно, ты можешь... так, намекнуть, что ли... Приготовить... Да ведь не сумеешь! Ну, мы потом сами скажем.

Фортунат Модестович, хотя громко шутил и хохотал, видимо, остался недоволен здоровьем Варвары Ниловны. Не велел ходить, потому что у нее сильно опухли ноги, и советовал как можно больше быть на воздухе, не боясь свежести. Маргарита говорила с Вавой особенным, нарочито медовым голосом, осыпала ее любезностями и ласками, как говорят с детьми и больными и вообще с людьми, которые уже ничем не могут тронуть, не могут сделать ни худого, ни хорошего.

Маргарита, не стесняясь, говорила о своей беременности, это немного удивляло Ваву, и смущало и очень интересовало Васю. Прежней брезгливой щепетильности в Маргарите не было и следа. Вася глядел на ее широкий стан, соображал, как это все будет, и почему она так равнодушна, и не радуется, что родится ребенок, и не огорчается, что она теперь такая тяжелая и некрасивая, и что ребенок, когда родится, будет плакать.

Уходя, Маргарита спросила:

– А что, от Ньюры имеете известия?

– Она редко пишет, – сказал Андрей Нилыч.

– В последнем письме она говорила мне, что разочаровалась в этих курсах, бросила их, кажется. Занимается какими-то переводами, компиляциями... Глухо так пишет. Но настроение довольно неровное, порой даже озлобленное... И с теткой что-то не ладят.

– Да... Уж не знаю, право, – сухо сказал Андрей Нилыч. Разговор ему был неприятен.

Вава не обедала, у нее случился небольшой припадок удушья, но потом прошел. Вечер спускался тихий, не по-мартовски теплый, и Ваву после обеда, в кресле, укутанную, вывезли на балкон. Андрей Нилыч отправился к баронессе, ему любопытно было увидеть и Радунцева. Вася заботливо подвинул кресло ближе к ступеням, где видно было шире, откуда белело вечернее, весеннее море.

– Ты не простудись, Вавочка, – говорил он с серьезной

вежливостью. – Вон, ты бледная.

Но Вава была не бледная. С лица ее сходила обычная желтизна, оно бледнело и немного удлинялось. Глаза были окружены не коричневыми, а голубыми тенями, смотрели открыто, спокойно и глубоко. Светлый, мягкий платок, едва накинутый на голову, нежно касался ее щек.

– Вава, смотри, как сегодня! Небо зеленое-зеленое и такое высокое, что голова кружится! Ой, как хорошо бы туда, до самого дна небесного долететь! Да, Вава?

– Ты сам говоришь, что голова закружится.

– Нет, у меня бы не закружилась. Все хорошо, Вава, правда? Вот мне хорошо, что я хочу ко дну небесному, и мне кажется, что непременно я долечу.

Он задумался.

– Вава, – сказал он вдруг, немного другим голосом, точно вспомнив. – Я тебе хочу сказать о чем-то. Дядя и Маргарита, и Фортунат Модестович утверждают, что тебе нельзя этого сказать, что ты очень огорчишься, а я не понимаю, почему? Мне кажется, что ты не огорчишься. Можно сказать, Вава?

Он сидел на ступенях у ее ног и смотрел ей в лицо, белое, чистое и красивое.

Вава чуть-чуть улыбнулась.

– Я вижу, я знаю, о чем, – сказала она спокойно. – О... генерале что-нибудь? Конечно, скажи!

– Вот, я и говорил, что можно! Помнишь, тогда, давно, ты огорчалась, что Катерина служит у генерала, и думала, что

он ее отпустит, если тебя любит и женится на тебе. А он ее не отпустил и опять привез. Они уже у баронессы. Вот и все.

– Что ж? – сказала Вава серьезно. – Генералу трудно ее отпустить. Он к ней привык, она так знает, что ему подать и сделать. Зачем же требовать от человека то, что ему трудно? Я давно знала, что он приедет с Катериной. Ему без нее трудно. А мне это одинаково нравится, это тоже хорошо.

Вася немного даже был удивлен простотой слов Вавы. Он поднял глаза и пристально на нее посмотрел. Но лицо ее по-прежнему было ясно и точно действительно все это казалось ей хорошим. Вася обрадовался.

– О, какая ты стала, Вава! Как я тебя люблю! Я не знаю, что ты думаешь, а все-таки понимаю. Вот именно – хорошо! Все хорошо, самое разное хорошо, если его до доньшка понять! Я тебе скажу, в стихе этом вчерашнем, я и сегодня его пел четвертый глас, – так там разное, точно две нитки выются и все к кончику сближаются, сближаются, истоняются – и в одну переходят, в одну ноту, и в этой ноте их концы, один их конец, потому что из двух стала одна. Вот я тебе спою. Ты подремли, а я тебе все стану петь. Я долго буду петь, и тихонько, тихонько...

Невинные и живые ароматы дышали кругом. Первые цветы просыпались к жизни, первые почки раскрывались, земля влажнела и давала дорогу всему, что вставало из нее, что просыпалось, хотело дышать, и дышало, чтобы потом заснуть, – что умирало в ее темноте, уходило из нее – и умира-

ло под солнцем, и возвращалось, возрождалось в ней. Миндали без ветра роняли ослабевшие лепестки своих цветов, длинные, голубые дорожки поползли по горам от опускающегося солнца. Тишина была полна шелестом, шепотом, шорохом и шуршанием бесчисленных пробужденных жизней. Казалось, слышно было, как анемон тянется по дорожке, как почка расправляет свои младенческие листья, словно детские пальчики, и только что родившаяся божья коровка заботливо спешит на соседнюю ветку. Земля дышала и вздыхала, шевелилась и жила.

Васин голос не нарушал тишины и ее созвучий. Вася пел – и не пел, и звуки были воздушны, точно воплощенные мысли. Варваре Ниловне казалось, что голубой, сонный и тихий туман обнимает ее. Да, все хорошо, хорошо и то, что было прежде, и то, что теперь. Длинная, длинная дорога, Длинные, длинные нити... Перед взором ее вдруг встали красивые старческие черты, все, все мгновения и часы, когда она была с ним вместе, и все, что она тогда думала и чувствовала. Ничто не ушло из души, – только душа стала иная, и все в ней есть, и не надо ничего от других для нее. Голубой сон надвинулся ближе. Ваве стало казаться, что она маленькая, маленькая, что все ее мысли и чувства сошлись глубоко внутри в одну точку, и нет ничего, кроме этой точки, которая тоже сейчас погаснет, и это хорошо. И сон покрыл ее, конечный в своей бесконечности, и точка погасла, и было хорошо. Весна благоухала, шелестела и дышала кругом. Вася, ища неведо-

МЫХ и чудесно тихих звуков, ища соединения двух сближающихся нитей, смотрел вверх, в самое дно небес, и пел:

Благословен еси Господи,

Благословен еси Господи,

Научи мя оправданием Твоим...